

С. МОГИЛЕВСКАЯ

# ТЕАТР НА АРБАТСКОЙ ПЛОЩАДИ




ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»











С. МОГИЛЕВСКАЯ

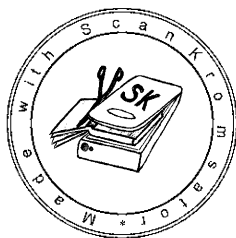
ТЕАТР  
НА  
АРБАТСКОЙ  
ПЛОЩАДИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

*Москва 1971*

Р 2  
М 74

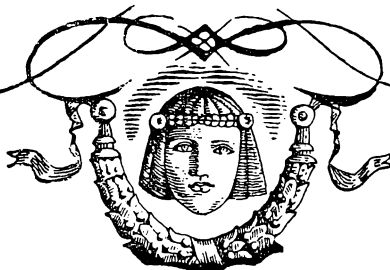
Х у д о ж н и к  
Г. КАЛИНОВСКИЙ



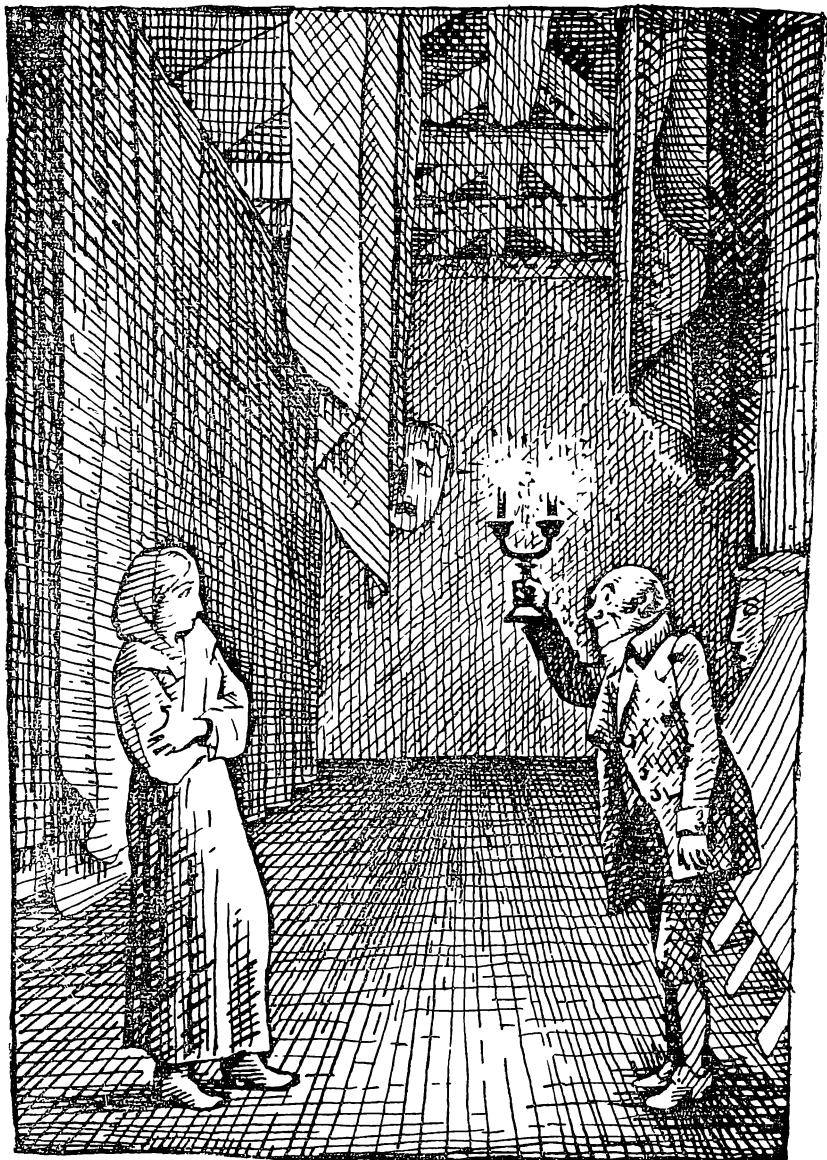
7—6—3

Scan AAW

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**



**САНЬКА  
ПОПАДАЕТ  
НА  
АРБАТСКУЮ  
ПЛОЩАДЬ**





## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### О ТОМ, КАК САНЬКА ЗАЛЕЗЛА НА БЕРЕЗУ И РАЗДУМЫВАЛА НАД СВОЕЙ СУДЬБОЙ

— Са-а-анька...

— Вожжами ее, да как следует, да как следует, тогда будет знать!

— Куда ж она девалась? Ума не приложу... Санька!.. Вот непутевая!

— А я тебе сколько твержу? А всё мимо уха... Она и есть непутевая! Совсем от рук отбилась. Бойка, дерзка... Вожжами ее!

— Вожжами да вожжами — у тебя одна присказка. А с ней надобно лаской. От ласки она шелковая.

— Ишь ты — лаской... Небось к моим доченькам не больното ласков.

— А с твоих что взять? Санюшка... Эх, беда! На базар ехать, а репа не копана...

— Попадись она мне, всю бы излупила!

— Вели своим подыматься, пусть помогут...

— Репу копать?! Рехнулся, старый! Надо же! Чего в его глупую башку лезет? Мои лебедушки сроду такого делать не приучены! Репу копать Марфуше с Любашей? Надо такое придумать! А твою Саньку найду, буду лупить, рук не пожалею.



И громогласно, да так, что от ее зычного голоса петух закукарекал, а куры со страха закудахтали, Степанида, Санькина мачеха, заорала:

— Санька, чертова девка, сей минутой будь здесь! Отцу на базар ехать, иди репу копать!..

А в это время Санька, сидевшая на верхнем суке березы, скрытая от всех густой листвой, хмуро наблюдала за переполохом, который сама же учинила дома. Сидела угрюмая, потрясенная тем, что узнала нынче утром от соседской девчонки Параши. Услышанное трахнуло ее по голове, словно обухом, словно шилом насквозь проткнуло сердце.

И сейчас, сидя на березе и чутким ухом прислушиваясь к голосу отца (до мачехи ей дела не было, мачеха и есть мачеха, что с нее взять?), она пыталась в его словах и поступках найти приметы тому, что ей у колодца рассказывала Параша. Правда это или вранье? Родной дочерью или найденным росла она в отцовском доме? Услышанное вроде бы в одно мгновение вышибло из памяти те заботы, любовь и ласку, которые она знала и видела все эти годы и от Луки, и от покойной своей матери Матрены. Теперь же нанизывалось в памяти только то, что служило подтверждением всего, что рассказала ей Параша. И от этого сильнее и сильнее накапливалось на сердце. С обидой и горечью она твердила про себя:

«Была бы я им родная, не стегала бы меня матушка крапивой всякий раз, как убегу с подружками в лес...»

Была бы я им родная, купили бы они мне тот полушалок в розанах, какой мне тогда хотелось...

Была бы я им родная, не женился бы батюшка второй раз на проклятушей этой Степаниде. Как молила его, как просила... Говорила ему: волк в лесу, мачеха в доме. Не послушался!..

Была бы я ему родная, не позволил бы он мачехе и сестрицам измываться надо мною, заступился бы...»

Это последнее, пожалуй, сильнее всего говорило Саньке, что не дочерью, а приемной девчонкой была она Матрене и особенно Луке.

И чем дальше, тем больше горьких мыслей приходило на ум. А вместе с горечью росла и обида.

Приемыш... Что там говорить — разве это родная дочь?

Что она была им не родной, об этом знала вся округа. Знали соседи всей Пресненской слободки — и ближние и дальние. Толь-

ко одна она ни о чем не догадывалась до сегодняшнего утра.

Пока была маленькой, несмышленишем, люди судили, рядили, дивились, в досталь языками чесали: надо же, Крюковым Луке с Матреной словно с неба свалилась долгожданная дочка! Но прошли годы, все позабылось, и уже ни один человек не вспоминал о том дне, когда Лука, прижимая к себе с осторожной неловкостью, внес в избу крохотную девочку, укутанную в рваную ветошь. И с рук на руки передал эту девочку изумленной Матрене.

А своих детей у них отродясь не было. Не раз оба ходили вымаливать себе дитя и в Троице-Сергиеву лавру, и в другие монастыри. «Хоть какого кривенького, хоть косенького, хоть лядащего, — просила у бога Матрена, не скупясь на жаркие молитвы и толстые восковые свечи. — Уж я бы его, кровиночку мою, любила больше жизни, уж я бы его миловала, голубила...»

И прожили Лука с Матреной в достатке, в сытости, душа в душу много лет, а детей им бог так и не дал. Вот горе-то! Чем же они всевышнего прогневили?

Лука был огородником. Вдоль берега реки Пресни, которая недалеко от того места вливалась в Москву-реку, лежали его огороды. Не то чтобы очень большие, а все же изрядные. В летнюю пору Лука возил на московские базары разные овощи — репу, морковь, горох, зимой же — соленые огурцы, квашеную капусту и всякую иную снедь.

Как-то раз возвращался он с базара. Дело было летом. Ехал потихоньку, подсчитывая в уме выручку. И вдруг послышался ему детский плач. Оглянулся — поблизости никого. А голос у дитяти был хоть и не очень громкий, но до того залиvistый и жалостный, что за сердце хватало. Лука остановил лошадь, соскочил с телеги и пошел на плач младенца.

А река Пресня, делая поворот, текла здесь тихо, мирно, отражая в своих водах и небо, и облака, и темную зелень прибрежных раkit. Однако в этом месте, люди говорили, была бездонная глубина. И если бы кто задумал порешить себя, лучшего места не сыскать...

Недалеко от берега, в траве под кустом, и увидел Лука девочку.

Сколько ей было, Лука определить не мог — по этой части опыта у него не было никакого. Но вот что удивительно: девчущ-

ка, увидев склоненного к ней Луку, вмиг перестала плакать. Глянула на него — на темных ресницах еще дрожали слезинки — и улыбнулась. Сверкнули белые зубки — два наверху, два внизу.

«Ишь ты,— подумал Лука, умняясь,— кроха, а человечью душу сразу почуяла...»

И долго не раздумывая, очарованный доверчивой детской улыбкой, Лука на всякий случай перекрестился, взглянув на бездонный омут, сгреб ребенка в охапку вместе с ветхими тряпками, на которых тот лежал, и привез Матрене.

— Держи дочку, богом посланную!

Матрена вся затрепетала — радость-то какая неожиданная! А потом затревожилась: а ну как хватятся ребенка? А коли отдавать придется? Присохнешь сердцем — и отнимут у тебя...

Но девочку никто не искал, никто не спрашивал, никому она, видно, не надобилась. И стала она расти у Луки с Матреной, катаясь как сыр в масле, в достатке и в родительской любви.

Окрестили Александрой. Стали звать Саней, Санюшкой.

С того дня, когда Лука нашел девочку, прошло более четырнадцати лет. Так что теперь Сане, сидевшей на березе, было годков пятнадцать. Может, чуть поменьше или чуть сверх того.

Но теперешняя жизнь Сани намного отличалась от прежней. А вернее сказать, ничего сходного не было в ее теперешней с той прежней, когда она как сыр в масле каталась...

Года три назад Матрена простудилась, неделю поболела и померла. Лука на свою же голову женился снова. Женился на вдове, вздорной и крикливой бабе Степаниде. И были у той вдовы дочки — Марфуша и Любаша. Обе невесты. Общим женихи нужны да хорошее приданое. Обе ленивые, белые, пухлые, будто калачи из печи вынутые. Обе давно в цвет вошли да уже и отцветать начали. Обе без меры матерью любимые. И пошла жизнь у Саньки вкривь и вкось...

Прежде у Луки с Матреной была работница. Дарьей ее звали. А теперь мачеха завела новые порядки: «Вот еще, деньги на ветер пускать! Пусть Санька все дела делает, не развалится!»

И пошло звенеть по дому с утра до вечера Санино имя: Санька, воды принеси! Санька, в погреб слазь! Санька, где дрова? Санька, Санька, Санька... И тула и сюда знай поворачивайся!

К ночи Санька с ног сбивалась. Однако все делала безотказно, отца своего жалеючи — вон как исхудал. Даже рыжая борода вылезла, реденькой стала.

Будто шершень впиалась Степанида в Луку, кровь из него сошла для дочек своих любезных, а с них пылинки-былинки сдувала. А как же, девушки — невесты! Нельзя им белые ручки марать, нельзя им пышность терять, нельзя, чтобы слинял румянец с толстых щек.

Ладно, думала Санька, отдадим их замуж, полегче станет. Потерпим с батей.

А Марфуша с Любашей до того обленились, что захотят водицы испить, — не поднимутся, велят Саньке, чтобы подала. Да не из кадки — из колодца, чтобы студеной водица была...

Таким миновал год, другой и третий пошел. Санька день-деньской в работе, а сестрицы допоздна на пуховиках нежатся. А подымутся — начнут новые наряды мерить, разные шали цветастые да полосатые на себя накидывать. В зеркальце полюбуются, по горнице пройдутся и опять в сундуки сложат. Опять же на гулянье ходят — то в сады под Новинский монастырь, то на Пресненские пруды. Женихов там разглядывают, на каких указывает им сваха Домнушка. Только ни один пока ихнему вкусу не угодит. Тот молод, да беден. Другой богат, а староват. Иной и богат и молод, да лицом рябой.

А Степанида своим дочерям:

— Умницы вы, разумницы, королевны вы мои, красавицы! Уж коли замуж, подавай нам короля червонного... Чтобы был хорош да пригож, богат да тароват...

Вот так всё и шло до сегодняшнего утра. А сегодня, когда рано поутру Санька, громахая ведрами, помчалась на колодец, встретила её Параша.

— Ой, Санюшка, — запричитала она, — да что с тобой стало? Уж не хвора ли?

— Здорова, — ответила Санька. — Мне для хвори лишней минуты нет.

— А похудала, а отошала, а лицом пожелтела!.. Ай-яй-яй... Вытянула Санька из колодезной глубины ведро с водой и на всякий случай в колодец глянула. А там, внизу, в водяном зеркальце, — ее лицо. А ведь правда словно бы исхудала!

— Сестрицы с мачехой замучили, — призналась она Параше. — Все жилы тянут, а никак замуж не идут...

Тут-то Параша и брякнула:



— Заступы у тебя нет. Был бы тебе дяденька Лука родным отцом, не дал бы в обиду.

— Что пустое брешешь! — огрызнулась Санька. У самой же сердце так и екнуло. И лицо побелело.

Параша поняла, что Саньке ничего не известно, сама не рада была, что лишнее сболтнула. Да слово не воробей — вылетело, поди поймай его!

Вот тут-то, возле колодца, Санька узнала: что Матрене с Лукой она не родная дочь, а найденыйш; что нашел ее Лука под ракитовым кустом возле омута. А что она им не родная, сразу заметно — не той породы!

И правда, была Санька кудрява и черноволоса, с тугими смуглыми щеками и цыгановатыми, чуть наискось прорезанными глазами. Тонка в талии, быстра на язык, к тому же увертлива, как ящерка или змейка-медянка. Всем было удивительно, когда рыжий Лука и рыхлая веснушчатая Матрена называли доченькой эту бойкую черноглазую девчонку.

И теперь, сидя на березе и прислушиваясь к голосам мачехи и отца (да не отца ведь, вот в чем беда!), Санька старалась найти глазами то место, где Пресня, делая поворот, размыла бездонный омут и где на берегу, махонькую и горемычную, родная мать оставила ее под кустом. А сама-то, а сама?.. О господи, сама-то вниз головой кинулась в тот страшный омут.

Сквозь листву березы ей виднелась хоть и близкая, да незнакомая Москва. Сорок сороков церковей жарко горели золотыми маковками в лучах утреннего солнца.

Здесь же, поблизости, все было ей знакомо и мило сердцу — и река Пресня, и ручей Студенец, и речка Бубна, и река Проток. Вся местность, изрезанная вдоль и поперек реками и речушками, весной и осенью была непролазна от топи и грязи. Но теперь, на исходе лета, глаз тешила свежая зелень, еле тронутая нежной желтизной.

Рядом с домом разлеглись огороды — тянулись гряды с огурцами, репой, брюквой; понижу, ближе к реке, уже закрутила лист капуста. А в саду вперемежку с яблонями и грушами отец посадил кусты крыжовника и смородины.

— Ну ладно, — прошептала Санька не то себе, не то кому-то неведомому, — родной не родной, а кроме меня, кто ему пособит репу копать?

И стала она потихоньку с ветки на ветку, с ветки на ветку слезать с березы.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### О ТОМ, КАК САНЬКА ДВЕ ЗАТРЕЩИНЫ СНЕСЛА, А ПОДЗАТЫЛЬНИКА НЕ СТЕРПЕЛА

Только успела она ступить на землю, услышала возле себя:  
— Вот она, твоя чернявая...

Не дочь, а чернявая, подумала Санька. Стало быть, и эта знает, что она подкидыш.

Подскочив к Саньке, мачеха заорала:

— Ты где ж пропадала, окаянная твоя душа?

А Санька в ответ ни слова, будто онемела. Молчок, и всё тут!

— Не слыхала, что ли, как тебя кричали? — громче прежнего заорала Степанида. — Оглохла?

И на этот раз Санька промолчала. Стоит, словно каменная. И глаза в землю уперла.

Степанида даже позеленела от злости. Ишь ты, гордячка! И слова из нее не вытянешь.

— Ты что, надолго молчать взялась?

Тут Санька подняла на мачеху глаза. А в глазах — одна дерзость и непокорность.

У Степаниды руки зачесались: ох, и нахлещет же она сейчас девку! Однако такая ярая злоба была в Санькиных глазах, что руки-то у Степаниды хоть чесались, а подняться не поднялись.

— Иди репу копать. Дел неспор, а она баклуши бьет!

— Не пойду.

— Как это — не пойдешь?

— Не пойду, и весь сказ...

— Да ты что?!

— А ничего. Посылай своих девок, на моем горбу наездились. Предовольно с меня... Хватит! Пусть твои спину гнут, а я посижу да погляжу.

Тут Степанида дала волю рукам. Ястребом кинулась на Саньку — шлеп ее по одной щеке! Шлеп ее по другой щеке!.. Вот уж истинно говорят — мать высоко руку поднимает, да не больно бьет, а уж как у мачехи рука опустится, так огнем щеки загорятся.

От Степанидиных затрещин щеки у Саньки и правда запылали алым пламенем.

Тут подошел Лука.

— Чего разорались? На весь околодок крик подняли.

— Ты глянь на свою злодейку... Ей — слово, она — десять! Ей говорю — иди репу копать, отец велел. Она — не пойду! Да что ж это такое? Осатанела девка!

А Санька стояла — не подступись. Губы прикусила, щеки разрумянились, глаза горят. Ну и ну... Ведь правда осатанела!

Лука подошел к ней и тихо, но с угрозой приказал:

— Иди репу копать. Надобно на базар ехать.

А Санька ему свое, да громко, да на весь двор:

— Не пойду. Посылай Любку с Марфуткой.

— Люди добрые, что придумала! Моих лебедушек...

Может, Саньке в ту минуту и смешно не было, может, и вовсе смеяться не хотелось, однако подняла хохот на весь двор:

— Ай да лебедушки! Гусыни жирные, вот кто дочки твои разлюбезные... Еле ходят, вот до чего отъелись на батенькиных хлебах.

Из сеней на крыльцо выползли Любаша с Марфушей. От сонной одури глазами хлопают — что такое? Их-то зачем поминуют? Экую рань крик подняли. Спать бы еще да спать, а разбудили...

А на Саньку такое нашло, что и рада бы себя остановить, да куда там — вскачь понеслась!

— Вот они, гусыни! Гляньте на них, на жирных. Да разве таких кто замуж возьмет? В перестарках сидят и будут сидеть...

Кое-кто из соседей стал выходить на крыльцо. Что это у Крюковых делается? Сроду такого не случалось. Крик. Ругань. Батюшки светы родимые, да что ж это?

Лука подошел к Саньке.

— Замолчи, дура! Не срами на старости лет, — и, не удержавшись, двинул ей здоровенный подзатыльник.

А Саньке того и надо было. Закричала громче прежнего:

— Видать, что ты мне не отец! Кабы отцом был, не поднялась рука... Заступником стал бы! Разве отец даст над родной дочерью измываться? Разве... — Уткнув лицо в ладони, вдруг громко заплакала и, рыдая, кинулась за дом.

Лука стоял, будто онемевший. Степанида и та замолчала. Однако ненадолго. Вспомнив, что Санька обозвала ее дочерей гусынями, вмиг обрела голос. Накинулась на Луку:

— Так тебе и надо, простофиле! «Лаской, лаской с ней надобно»!.. Вот тебе и лаской! Мало девку лупили, получай теперь...

Лука махнул на Степаниду рукой: молчи ты, не твоего ума дело! И, понурившись, виноватый пошел за Санькой.

Она уже не плакала. Стояла в саду под яблоней. Глаза были сухи, лицо бледно, только на щеках горели алые пятна — следы Степанидиных затрещин.

Лука подошел к ней.

— Санюшка, прости меня...

Санька не глянула на него, процедила:

— Бог простит.

И Лука понял: бог-то, может, и простит, а Санька не простила и никогда не простит. Подумал: видно, и та, что в омут кинулась, оставив под кустом младенца, великой гордыни была де-вущка.

А Санька, не повернув к нему головы, спросила:

— Сказывай, где репу копать? На ближних грядках или возле реки?

— Да ладно, не надо...

— Показывай, раз спрашиваю! — прикрикнула она на Луку.

А часа через два, лишь только он уехал на базар, Санька, умывшись, приодевшись, надев на ноги праздничные сапожки, накинув на голову пунцовый полушалок, последний подарок матери, пошла к воротам.

— Ты куда это? — вздумала остановить ее Степанида.

Но Санька на нее лишь искоса глянула, та осеклась и смолкла.

Думала ли Санька в тот миг, когда за ней, скрипнув, закрылась калитка, что слышит скрип этот последний раз? Думала ли она, заложив за собой щеколду, что и это она сделала последний раз? Нет, такого у нее в мыслях не было. Просто хотелось ей в тот миг досадить мачехе и сестрицам. Пусть, пусть поработают! Пусть ведер двадцать воды из колодца вытянут! Пусть раз десять слазят в погреб! Пусть дров натаскают, пусть печку истопят, пусть скотину накормят, в доме приберут... Пусть, пусть, пусть поглядят, как им без нее, без Саньки, придется...

Со злорадством услышала за своей спиной вопрошающий окрик мачехи:

— Никак, ушла?



И два голоса с испугом ей в ответ:

— Ушла, маменька, ушла...

Но слова их словно бы Саньки уже и не касались, словно бы донеслись к ней из далекого далека.

Выйдя за ворота, она перекрестилась. Поглядела налево, поглядела направо. И пошла по той самой дороге, которая вела через пустоши, через огороды, через большое торговое село Кудрино прямо в первопрестольную. А Москва, кстати сказать, находилась от Санькиного дома не так уж и далеко...

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### О ТОМ, КАК САНЬКА ПОПАЛА НА ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР

А как попала Санька на Тверской бульвар, она и сама толком не могла понять. Брела себе по московским улицам, глазела по сторонам. Дивилась на барские хоромы с каменными собаками у ворот. А может, это вовсе не собаки поглядывали на нее каменными глазами? Говорят, есть такие звери с преогромными гривастыми мордами, вроде бы на собак походят, только много свирепее...

Видела она и ветхие хибарки, крытые соломой. Таких на улицах Москвы стояло предостаточно, поболее, чем барских дворцов. Возле дворцов — зеленые сады, липы шумят, дубы чуть шевелят листьями. Возле хибарок — огороды с огурцами, мусорные свалки да кое-где рябина рдеет спелыми ягодами.

Проходила Санька мимо деревянных церквушек, до того стареньких, дунь посильнее — и на бревнышки развалятся! И кресты на погосте тоже от старости совсем накренились. А чуть подальше — храм божий. Глаз не отвести, краше не бывает! На одних купола золотом горят, на других небесно-голубые с золотыми звездами. Вот где молиться да молиться! Небось из таких-то вернее донесется на небо молитва?

То натыкалась Санька на какой-нибудь плетень. А вперед ходу нет! Никак иначе не выбраться, как лезть через плетень. А за ним — крапивы вдосталь. Лезла и спрашивала себя: «Ну зачем, дура, лезешь?» Отвечала: «Что я, не барыня себе? Куда хочу, туда и лезу!» Вот и получай, барыня: все руки крапивой обстрекались!

А один раз еле спаслась от косматого, злющего кобеля. Вы-

летел из подворотни, чуть в ключья не изодрал праздничный сарафан. Насилу ноги унесла...

Эх, Санька, Санька, ну куда тебя несет? Ведь обратно домой нипочем не найти дороги...

И вдруг, пройдя по незнакомой улице с красивыми барскими домами, вышла и вовсе неведомо куда. Что это был Тверской бульвар, Санька знать не могла. Откуда же? Сроду здесь не бывала. Хотя не раз ездила с Лукой в Москву на базары, даже брал он ее с собой на большие торги на Красную площадь. Но эти места посетить не случалось.

Увидев великое многолюдство и скопище разных карет да колясок, Санька сперва решила — не попала ли на какое-нибудь гулянье? На Пресненские пруды, что ли? Или под Новинский? Но нет, те места были ей знакомы. А тут ни прудов, ни Новинского монастыря. Видно, совсем в другие края забрела...

Остановилась. Стала глазеть. Чем дольше глазела, тем больше дивилась. По усыпанной песком широкой улице чинно и благородно разгуливали одни лишь господа. Ни тебе каруселей, ни качелей, ни развеселой музыки! Петрушка и тот не пищит. Скоморохов тоже не видно. Просто ходят нарядные господа взад-вперед и разговоры разговаривают. Поговорят, поклон друг другу отвесят, ручкой помашут и пошли шагать дальше.

Батюшки светы родимые, да отколь же сюда столько господ набралось? Неужто со всей Москвы сбежались к этим вот безрезкам?

В те времена — а происходило всё в 1811 году — Тверской бульвар был совсем не похож на тот, который мы знаем теперь. Не липы, как теперь, а рядами росли вдоль бульвара березы. Липы были посажены много позднее, уже после нашествия Наполеона, после того, как французы, побывав в Москве, срубили и сожгли все березы.

А тогда Тверской бульвар напоминал просторную и длинную березовую аллею, ровно укатанную и посыпанную песком. И был этот бульвар самым модным и любимым местом прогулок москвичей. Со всех концов съезжалось сюда не только дворянство, но и все иные сословия горожан. Наряду со столичным щеголем с лорнетом у глаз можно было увидеть здесь и богатого откупщика в кафтане. Бренча саблями, расхаживали военные, золотые нити трепетали на их эполетах в такт молодежавшим шагам. И тут же шествовала купчиха в атласном салопе розового цвета. Еле касаясь туфельками земли, кутаясь в прозрачные шарфы, прогули-

вались молодые красавицы. Следом за ними важные лакеи несли ридикюли и шали с цветастой каймой.

Приезжали сюда, на Тверской бульвар, чтобы часок-другой пофланировать, свидеться со знакомыми, услышать новости, посудачить, а заодно посетить кофейное заведение, которое держал здесь француз-кухмистер. Кофейня эта находилась в деревянной галерейке и славилась прохладительными напитками, а также можно было в ней отведать мороженого, конфет французских и выпить чашечку отменного на вкус чаю.

И стояла Санька как завороженная, крутила головой туда-сюда, боялась что-нибудь недоглядеть... Ну и ну! Таких красивых и нарядных барынь она еще никогда не видывала. Одни шляпки чего стоят — загляденье! С букетами, с перьями, с бантами... Иные же до того высоки да замысловаты — как только их голова держит?

А по обеим сторонам бульвара счета нет экипажам. Тут и кареты богачей — кони кровные, одномастные, как на подбор! И большие желтые коляски, и маленькие, легкие, на двух колесах. А на одной карете на козлах рядом с кучером арапчонка посадили. Черного-пречерного, а нарядного — в красном кафтане с золотыми пуговками.

А кучера-то, кучера! Дородные, бородатые, кафтаны на них голубые, зеленые, малиновые. Толкуются возле карет, переговариваются, ждут, когда барам наскучит ходить взад-вперед между березками.

Но вот услышала Санька:

— Подать карету их сиятельства Измайловой!

Увидела рослого лакея в ливрее с золотыми галунами. Увидела и генеральшу. Каков же сам генерал, коли у генеральши до того взгляд грозный, что и не подступишься...

Насмотревшись на все досыта, Санька почувствовала, что устала и голодна. Голодна так, что чугуна каши умяла бы в один миг. И ноги гудят в новых, еще не разношенных полусапожках. Надо присесть, отдохнуть, прежде чем повернуть обратно домой.

Утреннее буйство в ней совсем улеглось. С каким-то даже добродушием вспоминала она, как мачеха, не веря глазам, спросила Любку с Марфуткой: «Никак, ушла?» А дурехи сестрицы ей с испугом: «Ушла, маменька, ушла...» Небось рады будут, когда назад вернется.

Ладно, думала Санька, приду, повинюсь батюшке. Вспомни-

ла, как виновато просил ее Лука: «Прости меня, Санюшка...» А она-то ему — вот бешеная! — «Бог простит». Сама ведь не простила.

А разве не родным отцом, не родной матушкой были ей все эти годы Лука с покойной Матреной?.. А коли матушка иной раз ее крапивою стегала, так, видно, было за что. Испокон веку такое ведется! И Парашку мать стегала в малолетстве. И Аришку косоглазую. И Гриньку тоже. Того отец не только крапивою, а березовым прутом да вожжами сек, вот как! Если с парнем сладу нет, почему не постегать?

И полушалок матушка ей купила. Правда, не тот в розанах, зато атласный, пунцовый. Накинула ей на голову и прошептала, любуясь: «Ишь как на тебе ладно, доченька...» И слезу пустила.

Эх, благодарности в тебе нет, Санька, вот что я тебе скажу!

Найдя укромное местечко позади скамьи, Санька присела на траву, продолжая, однако, разглядывать всех, кто проходил мимо. Ну и рассказов у нее наберется! Полон короб... Послушают любезные сестрицы, чего она им сегодня наговорит.

Недалеко от той скамьи, за которой устроилась Санька, остановилась красивая барыня, а рядом с нею два барина. Говорили все трое между собою, надо думать, по-чужеземному, слова у них были непонятные. А платье на барыне было уж до того хорошо, что глаз не отвести: голубого переливчатого шелка да с синими бархатными бантами. И шляпка под стать — белая, тоже с синими бантами. Что хорошо, то хорошо, ничего не скажешь!

Но могла ли представить себе Санька, что темно-голубой наряд, который был в этот день на французской актрисе Луизе Мюзиль и так обольстил Саньку, будет подарен именно ей, Саньке? Правда, уж не новый, поношенный, но все равно, щеголяя в этом наряде, Санька будет сокрушаться лишь об одном — что не может похвалиться им перед Марфушей и Любашей, покрасоваться перед соседской Парашей. Да и мачеха пусть зеленеет от зависти, не жаль...

И так получилось, что оба барина, простившись с француженкой, подошли к той скамейке, за которой в тени, на зеленой траве сидела наша Санька.

А были эти два человека — один знаменитый в те времена драматург и театральный деятель князь Шаховской, а второй не менее знаменитый московский актер Петр Алексеевич Плавильщиков.



## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### О ТОМ, КАК САНЬКА УВИДЕЛА НА ЗЕМЛЕ КОШЕЛЕК

Они были очень разными, эти два человека, присевшие на скамью.

Один — старинного княжеского рода Александр Александрович Шаховской.

Второй из купцов — Плавильщиков Петр Алексеевич.

Шаховской — истый петербуржец, слегка презиравший Москву и все театральные порядки, о которых знал хорошо, лишь временами — вот как теперь — наезжая в Москву.

Плавильщиков — москвич, верный своему городу, почитавший Москву превыше всех городов на Руси. Самое короткое время он провел на сцене петербургского театра, чтобы, вернувшись в Москву, уже более никуда не выезжать.

Шаховскому в ту пору, о которой ведется рассказ, было лет тридцать пять или около того, Плавильщикову уже перевалило за пятьдесят.

Один, несмотря на свой солидный возраст, был красив, хотя и дороден. Из-под крутого излома бровей смотрели строгие глаза, грива волнистых волос спадала на плечи.

У Шаховского же большой лоб переходил в изрядную плешь, обрамленную возле ушей и на затылке жидкими кудельками. Обладал он огромным носом, над которым и сам слегка подтрунивал. Глаза узкие, монгольского разреза, умные, с лукавством. Такой человек может отпустить столь ядовитую шутку, от которой не сразу очухаешься! Был он высок, толст, неуклюж, однако очень подвижен.

Плавильщиков всегда говорил плавно и спокойно. Его голос, по-актерски правильно поставленный, переливался и рокотал на низких нотах, переходя от громкой речи до хорошо слышного полусшепота.

А у Шаховского, казалось, во рту был спрятан пищик, вроде тех, которые бывают у балаганных клоунов или петрушек: несообразно с толщиной говорил он тонким и писклявым голосом.

Плавильщиков был важен и нетороплив, Шаховской весь в суе и движении.

И несмотря на такое явное различие, двух этих людей роднила одна великая, неумная, всепоглощающая страсть — любовь

к театру. И тот и другой — оба они всю свою жизнь и все свое время отдавали театру. Оба были драматургами. Оба не видели другого призвания, кроме работы в театре.

Шаховской был не только драматургом, но и режиссером многих пьес, идущих на петербургской сцене, — умный и опытный педагог, он вырастил целую плеяду выдающихся русских актеров. Будучи ревностным поборником процветания в России своего отечественного театра, он взамен любимого в те годы театра французского ведал и направлял репертуар всех русских театров того времени.

То же самое можно было сказать и о Плавильщикове. Но кроме того, Плавильщиков был знаменитым актером. Актерский диапазон его был столь велик, что он заставлял зрителей рыдать, когда играл короля Лира в драме Шекспира, и покатываться от хохота, когда выступал в роли Скотинина в «Недоросле» Фон-визина.

Оба — и Плавильщиков и Шаховской — были широко и многосторонне образованными людьми.

Теперь эти два человека, сидя на скамейке, вели между собой неторопливую беседу. А за их спинами, на траве, сидела Санька. Сидела смирно, чуть ли не затаив дыхание, и боялась лишь одного — чтобы эти важные господа не оглянулись, а оглянувшись, не прогнали бы ее прочь. Сперва она хотела было разуться — пусть отдохнут усталые ноги, прежде чем пускаться ей в обратный путь, — да постеснялась: уж больно нарядные господа разгуливали взад и вперед мимо березок.

Между тем плешивый толстяк с длинным носом, кивнув на барыню в синем наряде, пропищал своим тонким голосом:

— Да, сударь мой, хороша была сия актриса лет эдак с десятка тому назад... Прелестна!

Он поцеловал кончики своих собственных, в щепотку собранных пальцев, чем очень позабавил Саньку. Она невольно стала прислушиваться к их разговору.

— Особо в водевилях, — прибавил тот, который был постарше.

— А в Мольере, в «Скапеновых обманах», плоха ли?

— Помню, помню! И бойка, и вертлява, а слова как жемчуг низала! Аплодисментов порядком нахватывала — публика сложа руки не сидела.

— Э-э, что там говорить, годы не красят! Теперь небось перешла на роли благородных матерей?

— Все больше по барским гостиним французские романсы

распевает. У наших барышень и барынь мода на такие, сами знаете, ваше сиятельство...

— Что и говорить...

Оба умолкли. Один сверлил своими узкими насмешливыми глазами гулявшую по бульвару публику, второй задумчиво ковырял палкой песок возле скамьи.

А Санька в душе вроде бы и возмутилась. Не то чтобы она полностью поняла, о чем они говорили, но уловила: ту красивую в синем шелковом наряде они не хвалят, не восхищаются ею, а, напротив, за что-то порицают. А сами-то, сами? Один старый, другой, другой плешивый, а еще берутся такую красавицу ругать...

— Так и не собрались к нам в Петербург? — проговорил Шаховской, оторвав глаза от публики и вновь обратившись к Плавильщикову. — А может, на этот сезон пожалуете?

— И-и-и... ваше сиятельство, куда уж теперь?! Шестой десяток пошел. В молодые годы не ужился, чего там говорить теперь...

— Любезнейший мой сударь, только что перед вами на коленях не стояли, а уж как звали, как звали!.. Навряд ли кого еще из актеров так приманивали, как вас! И роли вам самые первые и всё сопутствующее...

Плавильщиков чуть усмехнулся, польщенный:

— Так-то оно так, но привержен я всеми помыслами к Москве. Родился здесь и помру в нашей матушке Белокаменной.

«Вот это да! — думала Санька. — И я тоже из Москвы ни на шаг. Какой-то Пе-тер-бург... Да ведь язык набок своротишь, пока вымолвишь. Москва всем городам мать!»

Она всем сердцем была с тем барином, который так красно говорил о Москве.

И как же все трое ошибались!

Где только не привелось побывать Саньке за свою жизнь, кроме Москвы! А князь Шаховской, человек не любивший Москвы, один из первых надел военный мундир Московского ополчения и в грозные дни нашествия французов стал на ее защиту. Плавильщикову же пришлось последние дни перед смертью провести далеко от любимого им города и умереть вне Москвы.

— А вон, сударь мой, Митрофанушка идет, — вдруг развеселясь, воскликнул Плавильщиков. — Вон, в синем фракке! Кому надобно представить сию роль из комедии господина Фонвизина

«Недоросль», стоит лишь взглянуть на этого фанфарона — и роль готова!

Шаховской поглядел туда, куда указывал ему Плавильщиков, и тоже развеселился: уморителен был фант, важно проходивший мимо.

А Плавильщиков продолжал:

— Давеча довелось мне читать одно письмецо. Презанятнейшее! Писано оно генералом Архаровым своему приятелю. Рекомендательное письмо. «Мол, так-то и так, мой друг! Сын соседа по имени отправляется в Москву и желает послужить. Он большой простофиля, худо учится, а потому нужен ему покровитель. Мол, удели милость свою к дураку моего соседа, запиши в свою канцелярию. А при случае награди чином или двумя...» И вот полюбуйтесь, ваше сиятельство, каков стал наш Митрофанушка, имея знатного покровителя! Чинами не обойден...

— Э, батенька мой, кто посмеет ослушаться Ивана Петровича Архарова, коли он назначен московским военным губернатором, к тому же исполняет и полицейские обязанности. Все пути открыты сему Митрофанушке!

Санька последовала взглядом за тросточкой Плавильщикова и тоже хихикнула: вот чучело так чучело! На огород ставить, воробьев отпугивать... Ишь как вырядился — фрак лазоревый, жилет пунцовый, на сапожках кисточки, на жилете всякие побрякушки позванивают, в руках несет букетец, всякую минуту его нюхает, во все стороны глаза вскидывает. А щеки-то, щеки! Почтище всякой девицы набелил и нарумянил! И брови насурмил... Ай-яй-яй, срамota какая!

— Что и говорить, — тоненькой фистулой пропел Шаховской, продолжая следить глазами за щеголем, — про такового лучше, чем Гаврила Романович Державин, и не скажешь:

Осел становится ослом,  
Хотя осыпь его звездами.  
Где надо действовать умом,  
Он только хлопает ушами.

Оба засмеялись. И Санька тоже тихонько фыркнула. Таких-то послушаешь — не соскучишься!

— Ох, распотешил, батюшка! — продолжая смеяться, воскликнул Плавильщиков.

Крупные капли пота выступили у него на лбу, поползли вдоль щек. Он полез в карман. Вытащил большой носовой платок в



красную с синим клетку. Вместе с платком вытянул и кошелек. Платком утер лоб и шею, кошелек же, мягко шлепнувшись, улегся на песок недалеко от Саньки.

С этого кошелька, собственно говоря, и началось. Все смешалось, завертелось, закрутилось в Санькиной жизни. Оно, конечно, и давешняя утренняя история, которая выгнала Саньку из дому, имела значение. Но кабы не этот кошелек, все пошло бы проторенною дорожкой: Санька через сколько-то времени вернулась бы домой, впряглась в прежнюю лямку и тянула бы, пока тянется.

Но кошелек...

Едва она протянула руку к кошельку, чтобы вернуть барину, как услышала ровень с ухом шипенье:

— Не трож-ж-жь...

Вздрогнула от неожиданности. Повернув голову, увидела мальчишку. Когда он появился тут, не заметила: все время прилежно и со вниманьем слушала разговор сидевших на скамейке.

Мальчишка был в грязной кофте, чумазый, веснушчатый. Изпод белобрысых волос, остриженных под горшок, блестели светлые глаза. Блестели свирепы, как у голодного щенка. Он погрозил Саньке кулаком: попробуй сунься за кошельком — такое влеплю, своих не узнаешь!

Между тем оба барина, занятые разговором, ничего не заметили: ни оброненного на землю кошелька, ни белобрысого мальчишку, который готов был накинуться на Саньку и избить ее.

— О Бонапарте что толкуют в Петербурге, князь? — вдруг круто переменив разговор, спросил Плавильщиков, повернувшись к Шаховскому. В голосе его звучало беспокойство, ясно было, что вопрос свой задал он не из праздного любопытства.

Шаховской нахмурился:

— Да поговаривают о разрыве мира, какой был заключен с Наполеоном в Тильзите.

— И у нас в Москве ходят толки, что терпение скоро лопнет от Бонапартовых деяний. Недавно граф Растопчин изволил сказать, хоть и в шутку, однако слова его на шутку мало походили: мол, Бонапарт поступает с Европой, как пират на завоеванном корабле...

— Неплохо сказано, — промолвил, усмехнувшись, Шаховской.

— Растопчин умен, что и говорить!

— И все же, сударь мой, не думается мне, что Бонапарт на нас войной полезет.

— Эх, ваше сиятельство, вернее, не хочется о сем предмете думать. А все может быть... И к тому же среди наших бар и барынь такое французолобие развелось, что глаза бы не глядели... Только что не молятся по-французски... Небось обо всем шпионы доносят Бонапарту. Ему-то, может, думается, что и воевать не придется — встретят с колокольным звоном!

— Не приведи бог войну,— сказал Шаховской и вдруг перекрестился.

— Купцы у нас калякают: мы-де все лавки побросаем, а поголовно станем на защиту матушки-Москвы. Уж этого врага прицепим черту на рога, вот так-то, ваше сиятельство!

Но все, что говорили промеж себя два барина, теперь Саньки не касалось. У нее завязалась безмолвная и ожесточенная борьба за кошелек: кто первый схватит? Конечно, проще бы подать голос. Крикнуть тем, сидящим на скамье: «Вы обронили, барин, кошелек! Вот он лежит! Здесь на земле! Нагнитесь, барин, да возьмите...»

Сказать-то все она могла, но до смерти боялась белобрысого мальчишку. Уж очень свирепо сверкали на нее глаза изпод вихрастых соломенных волос. Такой не пожалеет — избьет. А кругом народ и эти два хороших барина. Ведь срам какой...

А оба барина тем временем приподнялись со скамейки, надев шляпы, собрались уходить.

— Сегодня в Арбатском театре идет трагедия Озерова «Эдип в Афинах»? — спросил Шаховской.

— Пожалуйте?

— А как же! Не пропущу взглянуть на вас в «Эдипе...».

Отойдя от скамьи, Плавильщиков спросил:

— Поговаривают, у нас в Москве в нынешнем сезоне будут две соперницы: Екатерина Семенова и девица Жорж?

— Слыхал и я,— своим тоненьким фальцетом пропищал князь Шаховской.— Пойдет у вас баталия, коли придут обе враз!

— И не говорите, сударь...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### О ТОМ, КАК САНЬКЕ ДОСТАЛАСЬ ПОЛТИНА

Не успели оба барина и двух шагов отойти, как Санька коршуном налетела на кошелек. Но и белобрысый мальчишка не сплосшал. Их руки одновременно вцепились в добычу, каждый остервенело рвал кошелек к себе. Оба тяжело дышали. Санька молчала, стиснув зубы. Мальчишка же выдавливал хриплым шепотом:

— Отдай... У-у-у, чертова девка, излуплю!

Но Санька знала — из своих рук она кошелек нипочем не выпустит. Бей, лупи ее, не выпустит, и всё тут... Ухватила она кошелек левой рукой, а правая сжалась в крепкий, будто камень, кулак. И этим крепким, кремешковым кулаком она изо всей силы долбанула мальчишку в лоб, прямо между глаз. Тот взвыл от боли и разжал пальцы. Саньке того и надо было. Она скорехонько сунула кошелек за пазуху. А ну, попробуй отними-ка!

Мальчишка все так же свирепо и угрожающе шипел:

— Отдай, с-с-сатана...

Санька лишь усмехнулась. Поправила на голове сбившийся платок. Еще тяжело дыша, но торжествуя, смотрела на мальчишку.

— Как же не отдать-то? Отдам... Всенепременно отдам!

Она поднялась, встряхнула смятую юбку сарафана и, глядя на мальчишку, сидевшего на земле, посмеиваясь, повторяла:

— Не сомневайся, паря, отдам, отдам...

Мальчишка тоже встал с земли. Маленький, тщедушный, злой, лохматый.

— У-у-у, сатана! — тянул он плаксивым голосом. — Два дня не евши... — По его измызганному лицу бороздами текли слезы.

Саньке стало жалко оборвыша. Она понимала его. Самой хотелось есть. Даже в животе урчало. Вот до чего оголодала.

— Ладно, не реви, дурень... Чего-нибудь надумаем.

— Себе возьмешь кошелек-то? — спросил мальчишка, не спуская с Саньки жадных глаз.

Санька повела плечом. Гордо вздернув подбородок, ответила:

— Мне чужого не надобно.

И еще раз, получше оправив на голове пунцовый платок, бросилась вдогонку за теми двумя сидевшими на скамейке. Они уже подходили к концу бульвара.

Забежав сбоку, Санька обратилась к тому барину, который обронил кошелек:

— Барин, возьмите...

Плавильщиков приостановился. Нахмурившись, повернул голову к девочке в пунцовом платке.

— Чего тебе?

— Давеча около скамейки...

Плавильщиков увидел в руках девочки собственный кошелек. Удивился и обрадовался:

— Ба-а, вот так случай! Истинная правда — мой...

— А как же, — вдруг бойко затараторила Санька. Осмелев, она радовалась тому, что может вернуть потерянный кошелек, и очень желала, чтобы и барин этому радовался. — А как же, ваш и есть! Как доставали платок, так, ваша милость, заодно и кошелек обронили... А я и подобрала. Берите, берите, барин, не сомневайтесь!

— Благодарствую, милая! Ведь здесь денег порядком...

— А вот чего не знаю, того не знаю! — все той же бойкой скороговоркой продолжала Санька. — Кабы мой был, знала бы, а раз чужой, меня не касается.

Ее миловидное лицо разрумянилось, глаза блестели веселым лукавством, из-под платка выбились завитки темных волос.

— Воструха! — тоненьким голосом протянул Шаховской. А так как он всякого человека примерял к театру и видел этого человека в той роли, какую этот человек мог бы сыграть на сцене, то и сейчас, глядя на Саньку, промолвил, обращаясь к Плавильщикову: — Субретка, а?

— Субретка и есть! — смеясь, подтвердил Плавильщиков.

— Чего-с? — спросила Санька, озадаченная непонятным словом.

Хвалят ее господа или обругали? Но по лицам их незаметно было, чтобы ругали. Смотрели на нее с любопытством, но по-хорошему.

— Н-а, милая, возьми, — сказал Плавильщиков, порывшись в кошелёк и протягивая Саньке монету. — За труды тебе.

Санька обиделась:

— Помилуйте, барин, какие же труды? Разве трудно кошелек поднять да принести вам?

— Знаешь поговорку: «Дают — бери, бьют — беги». Не хорохорься...

— Да уж не знаю...

Санька была в замешательстве. Вроде бы и не хотелось брать деньги, вроде бы и не за что... Но почувствовала, что самой шибко хочется есть, вспомнила чумазое лицо парнишки, его голодные глаза, нерешительно взяла монету.

— Чего не знать-то? Бери, и всё! — подбадривал Плавильщиков.

— Спасибо вам, барин. Только ведь и правда зря даете.

А в это время медленным шагом, играя лорнетом и нюхая букетец цветов, мимо проходил молодой франт в голубом фраке и с нарумяненными щеками. Тот самый, которого Плавильщиков обозвал Митрофанушкой. Поднеся лорнет к глазам, он с любопытством оглядел странную группу: два известных всей Москве человека, актер Плавильщиков и князь Шаховской, по-свойски беседовали с какой-то девчонкой в синем сарафане и красном платке весьма простецкого вида. И такая усмешка появилась на лице франта, таким уничижительным взглядом окинул он Саньку с головы до ног, от ее пунцового платка, которым Санька гордилась, до каблуков козловых полусапожек, которые нещадно жали ей ноги, что Санькина гордость взыграла со страшной силой. Громко, с озорством, тыча пальцем в нарумяненного франта, она проговорила, прищуривая глаза:

— Ваша правда, барин! Осел останется ослом, хотя осыпьте его звездами. Он только хлопает глазами, где надо... А вот далее я и позабыла!

Плавильщиков с Шаховским изумленно переглянулись. Потом оба молча посмотрели на Саньку. Затем снова друг на друга.

— Ну-с, сударь мой,— произнес Шаховской,— как вам показался этот фортель?

Плавильщиков развел руки.

— Ошарашен... Можно сказать, с ног сбит... Звать тебя как? — спросил он Саньку.

— Александрой крестили. А попросту — Саней кличут. — И, отвесив Плавильщикову поклон, сказала: — За денежку премного благодарствую!

— Ваша правда, князь, воструха,— проговорил Плавильщиков, глядя вслед убежавшей Саньке.

— Так и видится она в Мольере...

— А как же — в самый раз Дорину представлять в Тартюфе.

— Истинная правда, сударь мой! — И тоненьким своим голосом Шаховской пропищал фразу из роли служанки Дорины: «Ах, вот уж мастера влюбленные трещать!.. Что за болтушки, право! Налево, сударь мой. Сударыня, направо...»

Оба рассмеялись и тут же, приподняв шляпы, учтиво поздоровались с идущими навстречу Карамзиным и Василием Львовичем Пушкиным.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ДАЛЬШЕ С САНЬКИНОЙ ПОЛТИНОЙ

Белобрысый оборвыш поджидал Саньку. Глотнув голодную слюнку, спросил:

— Сколько дали-то?

— Сказывала тебе, дурню, не тужи! Наедемся пирогов с зайчатиной, напьемся сбитня...

— Они дорогонько стоят, пироги с зайчатиной. Пятак за пару.

— А у меня... гляди! — И Санька повертела монетой перед носом мальчишки.

Оба они чуть не вскрикнули: в руке у Саньки была целая полтина.

Батюшки светы родимые, уж не ошибся ли барин? Сроду Санька таких денег в руках не держала. Давал ей прежде отец копейку или по праздникам пятак на сласти — медовых сосулек из сухарного теста погрызть или сладких стручков... Но полтина!

Мальчишка тоже смотрел на серебряную монету, глазам не веря: вот уж раскошелится так раскошелится барин. Видно, изрядный богач, коли такие деньги отвалил.

— Звать-то тебя как? — наконец опомнившись, спросила Санька.

— Алексашкой.

— Алексашкой? — не поверила Санька.

— Угу! Как у нас полтина пойдет? Исполу или как?

— Не врешь? Правда Алексашкой звать? — не отставала, выпытывала Санька.

Мальчишка истово перекрестился. Санька молча разглядывала

вала неожиданного тезку. Вот так история! Сказала, усмехнувшись:

— Меня ведь тоже Александрой звать.

Пришел черед дивиться Алексашке. Дивиться и радоваться. Раз тезки — пироги с зайчатинной он вроде бы уже уплетал за обе щеки. Однако схитрил, сделал вид, будто не поверил:

— Врешь небось?

— А для чего мне врать? — Санька (была у нее такая привычка) чуть передернула плечом.

— Перекрестись.

— Вот еще! Не стану.

— Ну, стало быть, врешь!

— Вру не вру, тебе-то что? Пироги пойдешь есть? Накормлю тебя, дурня, до отвала.

— У-у-у, сатана! — ласково ругнулся Алексашка. Немного помолчал, обдумывая. — Тут недалеко, на площади, Федька со сбитнем стоит.

— Ну и пошли к нему.

— Нельзя.

— Плохой сбитень, что ли?

— Хороший! Медовый, с имбирем. Задолжал ему.

— Ох, и дурень ты, Алексашка! Денег-то у нас полтина — отдадим!

— А еще там бабушка Домна с пирогами.

— И ей задолжал?

— Не... Она без денег не дает. Жадина! А пироги хорошие. Один раз у нее стянул с горохом. Вкусный!

— Пошли на площадь, Алексашка. И пироги и сбитень — все под рукой.

— А как тебя величать-то? — уважительно поглядев на Саню, спросил мальчишка.

Санька помолчала, подумала, потом сказала:

— Александрой Лукинишной зови. Ну, куда нам? Веди. Мне дорога незнакомая...

— Все прямехонько да прямехонько, — забегая то с одного бока, то с другого и заглядывая Саньке в лицо, суетился мальчишка. — Вон сюда идите, Александра Лукинишна. Там канава. Не сюда, не сюда, тутотка грязь...

— Да что ты меня обхаживаешь? Хворая, что ли? — рассердилась Санька. — Не мельтеши перед глазами.

Но мальчишка не унимался:

— Скоро и дойдем, Александра Лукинишна. Отсюда и версты не будет!

«Эх, паря, паря,— думала про себя Санька,— и лихо же тебя подвело... Чего уж там... Вижу, страх берет, как бы с носом не оставила. Не бойся, накормлю, век будешь меня помнить!»

— На углу и стоит тот Федька со сбитьем. Вон-вон, стоит! И Домна с пирогами. И-и-и, сколько их! Может, и пареная репа имеется. Пареную репу возьмем, Александра Лукинишна?

Санька ответила сухо:

— Там видно будет. Перво-наперво сбитня напьемся.

— А как же, а как же... — Мальчишка снова сглотнул слюну.

Хорошо, когда в кулаке полтина. Санька шла с гордой уверенностью. Не зря батюшка всякий раз, вернувшись с базара, приговаривает: «Денежка всегда дорожку проложит».

Федька-сбитенщик представлялся Саньке примерно таким же, как ее новый знакомец и тезка: замурзанным, щупленьким, белобрысым, веснушчатым. Но она ошиблась. Парень был хоть куда — рослый, красивый! Как говорится, глаза соколы, брови собопы, румянец во всю щеку.

Увидав Алексашку, он закричал:

— И близко не подходи! Катись колесом под горку. Ни кружки тебе, ни полкружки... Ишь нашелся на дармовщину хлебать! Стыд у тебя где? Под каблуком, а совесть под подошвой?

— Александра Лукинишна,— зашептал Алексашка, заглядывая Сане в лицо, — ты ему полтину покажи, он и помягчает. Только покажи...

Но Санька была не из тех, кто умеет кланяться. Она сама накинута на сбитенщика:

— Чего разорался? Попросайничать к тебе пришли, да? Наливай по кружке, да по большой!

Федор было огрызнулся:

— Нашла простофилю. Он мне задолжал за три...

— С полтины сдачу найдешь? — спросила Санька и покрутила перед Федором серебряную монету.

У того сразу голос изменился:

— Так бы и сказала.

— Ладно, наливай да поменьше языком чеши, — снова прикрикнула на сбитенщика Санька. А у самой в голове: «Коли есть чем звякнуть, так можно и крякнуть».

И хорош же был сбитень у Федора! Горячий, медовый, с



имбирем, перцем, лавровым листом. Что и говорить, духовитостей не пожалели, когда варили.

А с полтины сдачи у него все же не нашлось. Еще не наторговал. Уговорились: пойдут к бабке Домне есть пироги, у нее всегда деньги водятся, она и разменяет.

И Домна встретила их криком. У всех был, видно, на примете белобрысый Алексахка. Каждому чем-нибудь досадил. Сама Домна сморчок сморчком: маленькая, сухонькая, а завопила так, что у Смоленских ворот голосище ее должен быть слышен.

— Шагай, шагай мимо, мошенник! Знаю тебя... Повалился таскать пироги! Только подойди — так тебя хрястну...

Она загородила собой глиняную корчагу, прикрытую сверху какой-то ветошью.

— Бабушка Домна...

— Ищи себе другую бабку, а от моих пирогов подальше.

Но Санька живо все уладила. И перед старухой повертела своей полтиной. Домна тут же пироги раскрыла.

— Каких прикажешь, красавица? Вот эти с горохом. Эти с потрохами. Эти с капустой. Эти...

— С горохом, с горохом бери,— под руку зашептал Алексахка.— Они подешевле.

Но Санька приказала:

— Пару давай с горохом... Другую пару с потрохами. А еще с голубикой, коли имеются такие...

— Как не быть?! Какие пожелаешь, всякие найдутся... А сама-то откуда в наши края забрела? Московская или приезжая? Издалека ли?

Но Санька в разговоры вступать нежелала. Принялась за пироги. И тезка давай уминать. Ел жадно, кряхтел, урчал, сопел, жуя чавкал, запихивая в рот сразу по доброй половине пирога, давился. Казалось, живот у него круглеет на глазах, как у голодного щенка, который дорвался до еды.

Санька покосилась на мальчишку.

— Смотри не лопни...

Самой-то ей пироги пришлось не по вкусу. У них дома такие ли? И потроха пахивают, и масло прогорклое. Покусав пирог, не знала, что с ним делать: кинуть на землю — грех большой. С малолетства покойница матушка ей твердила: «Нельзя, Санюшка, хлебом кидаться. На тот год не уродится...»

Выручил Алексахка: выхватил у нее из руки недоеденный пирог. Воскликнул:

— Не ешь? Неохота? Такой-то пирог? Ай-яй-яй, да лучше ли бывают...

А время не то чтобы уже подходило к вечеру, но за полдень перешагнуло. Солнце тянуло книзу, тени от домов и деревьев удлинлись. У Саньки защемило сердце, заскучала она вдруг по дому.

А не пора ли обратно?

Ладно, поблажила, характер показала, надо же и честь знать! Работа, оно понятно, от нее не убежит, а все-таки кто же нынешние дела переделает? Не Марфутка же с Любашей.

Сейчас казалось ей, что ушла она из дому не утром, а давным-давно, незнамо когда...

— Собери сдачу да приходи за сбитень расплачиваться,— приказала она Алексашке.— Я еще одну кружку выпью.

— И мне бы еще одну. Дозволите, Александра Лукинишна? — попросил Алексашка, заглядывая Сане в лицо.

— Хоть десять пей, коли охота!

Алексашкино лицо озарилось счастливой улыбкой. В ответ ему улыбнулась и Саня. Подумала: хорошо, когда можно хоть такую малую радость человеку подарить. Спасибо щедрому барину за его полтину...

Здесь, на Арбатской площади, никогда прежде Санька не бывала. Как-то не приходилось в эти места заглядывать.

Арбатская же площадь не в пример другим улицам Москвы была в те времена не только без ухабов, колдобин и канав, но даже ровно вымощена крупным булыжником. Года три назад, а если говорить точно — 13 апреля 1808 года здесь открылся новый театр. А так как во время дождей, осенней и весенней распутицы по Арбатской площади нельзя было ни проехать, ни пройти, то и распорядился московский губернатор площадь вымостить, чтобы, невзирая на погоду, публика могла попасть на спектакли во всякое время года.

Арбатский театр находился посреди площади, в конце Пречистенского бульвара. Строил его знаменитый архитектор Карло Росси, тот самый, который построил спустя несколько лет знаменитый Александринский театр в Петербурге. Но и этот театр был очень красив. Высокое круглое здание с колоннами и множеством дверей на случай пожара выделялось среди всех других домов своей величавостью и замысловатой архитектурой.

Пространство между колоннами и зданием представляло галерею, удобную для подъезда экипажей.

Санька, поглядывая на этот красивый дом, не могла понять: зачем такой выстроен и кто бы в нем мог жить?

Подойдя к Федору и показав на здание, спросила:

— А там чего?

— Театр,— ответил Федор.

— Чего? — не поняла Санька.

— Да театр же, Арбатский,— пояснил тот.

Но Санька все равно не поняла. Откуда ей было знать, что это за слово такое — театр? Сроду не слыхивала. Но потому ли, что ей приглянулся красивый сбитенщик, или почему иному и виду не показала, что не поняла. Покосившись на круглый дом, небрежно бросила:

— Стало быть, этот и есть?

Федор подтвердил:

— Этот и есть! Представления тут каждый день. А иной раз на дню по два раза. И утром и вечером.

— Не приходилось бывать,— все так же небрежно, чуть поджав губы, проговорила Санька.

Но теперь-то она догадалась, что круглый дом, который зовется театром, такой же балаган, какие ставятся для разных представлений на праздничных гуляньях. Только этот построен для господ, а потому и красивее, и больше балаганов. Интересно все же хоть разок да побывать там внутри. Убранство небось богатое...

А Федор давай хвалиться, щеголять непонятными словами:

— Я сбитень туда ношу. Актеры ходко берут. Как приду за кулисы, кричат мне: «Федор, сюда подавай! Сюда неси горяченького!» Все распродам, останусь комедию али трагедию смотреть. Почитай, каждый день хожу. Всех актеров наперечет знаю.

Санька, видно, приглянулась Федору. Глаз не сводил с красивой девчонки. Да что там говорить: пунцовый шелковый платок очень шел к ее смуглому лицу, к черным глазам.

— Может, и тебя свести? Хочешь?

— Не знаю,— уклончиво ответила Санька. Хотеть-то, может, ей и хотелось, да время не позволяло. Домой пора.

Невольно прислушиваясь к голосу Алексашки, который яростно выторговывал у Домны каждую полушку за съеденные пироги, досадовала: чего он, дурень, разоряется? Не свои деньги платит. А ей все одно — копейкой больше али копейкой меньше. Расплатиться бы с Федором за сбитень да домой скорей. Дорога не

близкая. К ночи бы дойти. В темноте страшно. Разбойный люд по ночам балует...

— Алексашка, кончай базар! — сердито крикнула Санька белобрысому мальчишке. — Что ты... — и осеклась: Алексашки и след простыл, Алексашки рядом не было.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### О ТОМ, КАК САНЬКА ОЧУТИЛАСЬ ЗА КУЛИСАМИ ТЕАТРА

Сперва Санька глазам своим не поверила. Да как же так?.. Да быть не может!.. Ведь только что раздавалась его ругань вперемежку с визгливыми выкриками Домны. И вдруг будто сквозь землю провалился. Нет мальчишки! Зато Домна орет пуще прежнего.

Она повертела головой, пошарила глазами. Нигде. Пропал. Ни слуху ни духу. Да как же он поспел? И как проворно!

Ошалело она поглядела на Федора.

— Ты чего? — спросил тот, удивившись Санькиному растерянному виду.

— Убежал ведь...

— Кто?

— Да мальчишка давешний, Алексашка...

— И полтину унес?

— Всю, начисто.

— Экий пакостник! Коли попадетсЯ, не пожалею...

А Санька вдруг заплакала. Нет, не полтину пожалела. Ну их, деньги, — пришли и ушли... Не в том дело. Ведь его, мошенника, от всего сердца приветила. И отдала бы ему по-доброму деньги. Бери, ежели тебе так надобны, да не воруй! А как ей теперь расплатиться с Федором за сбитень?

— Полно, не реви, — принялся утешать ее Федор. — Ревом не вернешь...

— Да я не о деньгах, — всхлипывая, ответила Санька. — Тебе-то чем отдавать? Ведь у меня больше ни полушки...

Федор махнул рукой.

— Да не горюй. Пустое дело! Тебя Александрой звать?

— Саней, — еще раз всхлипнув, но уже потише, ответила Санька.

Федор усмехнулся. И были в этой его усмешке и жалость, и

теплота, и еще такое хорошее, что словами не передашь. Саня, смутившись, залилась румянцем и поскорее смахнула последние слезинки. Сказала:

— Пойду домой...

— Куда спешить? Подожди...

— Поздно. Батюшка прогневится.

— Мать заступится.

— Нет у меня матери. Мачеха теперь...

Федор еще теплее поглядел на Саньку:

— Вот ведь как у нас с тобой — и я сиротинушка.

Санька оживилась:

— Тоже мать померла?

— Мать жива. Отца нет. Убили еще давно, когда наши с Наполеоном под Аустерлицем воевали...

Санька с сочувствием помотала головой, хоть ни о чем таком знать не знала. Помолчав, сказала:

— Спасибо, хоть ты на меня не серчаешь... — И прибавила: — За сбитень.

— А я на тебя вовек серчать не стану.

Вдруг засмеявшись, — а ресницы еще чуть влажные от слез, а на щеках от слез еще бороздки не просохли, — Санька воскликнула:

— А вот и не зарекайся! Может, когда и прибудешь...

И Федор засмеялся, на нее глядя:

— Все может стать.

Домой бы надобно скорее, да какой тут дом, когда охоты нет и шагу сделать к дому...

А Федор, посмотрев на Саню и что-то хитрое в уме прикинув, поболтал чайник со сбитнем. И, словно сокрушаясь, воскликнул:

— Эхма, ничего не продал!

Санька всполошилась:

— Из-за меня? Ой, как же ты теперёв?

— Придется в театр сходить. Там актеры живо разберут. Любят мой сбитень... А желаешь, Саня, поможешь мне в торговом деле? Будем актерам вместе сбитень продавать. Желаешь, а?

Не очень хотелось Саньке идти в какой-то там театр. Но вроде бы виноватой чувствовала себя перед Федей. И согласилась. Лучше утерла глаза и щеки концом своего пунцового платка, подхватила в одну руку кружки для сбитня, в другую — один из

двух чайников с горячим сбитнем и потопала за Федором к высокому чудному дому со множеством дверей.

Эх, девушка, девушка, а не лучше ли тебе повернуть домой? Оно, может, и лучше, да, видно, такая дорожка в жизни. А на беду или радость, о том судить придется после...

До начала спектакля было еще далеко, хотя в те годы спектакли начинались рано и продолжались долго. За вечер представлялись обязательно две пьесы: какая-нибудь трагедия, а к ней в придачу комедия или водевиль. Зрители тех времен любили — уж ежели посетить театр, так наглядеться досыта.

Когда Санька и Федор подошли к театру, из-за раннего сравнительно часа на площади было пусто. Еще не стояли вереницей кареты, а подъезжали лишь немногие экипажи и, высадив возле белых колонн ездовых, медленно отъезжали в сторону.

— Подожди,— тихонько прошептала Санька,— охота поглядеть...

Как раз подкатила щегольская карета и остановилась у театрального подъезда. С козел соскочил нарядный лакей в ливрее с золотыми позументами и распахнул дверцу. Из кареты одна за другой выпорхнули две молодые барышни. Подобрал подошлы длинных, до земли, платьев, они обе пробежали от кареты к подъезду. Туфельки у них были атласные, на плечах легкие прозрачные шарфы. Головы убраны веночками из шелковых цветов, а на шейках жемчуга.

— Глаз не отвести,— прошептала Санька,— до чего же прекрасны!

— Где ж распрекрасны-то? Румяна да белила, вот и вся их красота!

При этих словах Федор поглядел на Саньку, да такими глазами, что Санька хочешь не хочешь, а поняла: лучше тебя все одно не сыскать в целом свете!

Санька покраснела: ишь какой нашелся любезник!..

А вслед за барышнями из кареты стала вылезать старая барыня. Тоже в шелках, тоже разнаряженная, на плечах тяжелая шаль в турецких узорах. Эту высаживал лакей, поддерживая под локоть, повел от кареты к двум барышням.

— Небось княгиня или графиня? — спросила Санька, завороченная важностью барыни.

— Княгиня,— небрежно ответил Федя.— Запоматывал, как величают...

И опять поглядел на Саньку, и опять Санька так поняла Фе-

дора: по мне, что графиня, что княгиня, а с тобой не сравню! Ты краше всех.

Санька отвела глаза.

А потом все чаще стали подъезжать кареты, коляски да брички. Из иных выходили люди попроще, видно, из купечества. А иные подходили к театру и вовсе пешком.

— Посмотрели — и ладно! — сказал Федор. — А то, поди, до начала и не раскупят...

Федор, а за ним и Санька, оба проскользнули в одну из боковых дверей и сразу оказались в темноте. Со света ни зги не видно.

— Не отставай, гляди в оба, тут заблудиться можно, — сказал Федор.

Санька сама понимала, что никак ей нельзя без Федора в таком незнакомом месте.

Откуда-то сбоку сюда доносились непонятные звуки: не то говор людской, не то гул деревьев, когда их клонит ветер. И еще что-то похожее на звуки пастушьей свирели или на тонкий птичий посвист. Или вроде того, как звенят капли, когда ранней весной скатываются с ледяных сосулек и падают в лужу: блям, блям, блям...

Но Санька понимала, что это и не пастушья свирель, и не посвист лесных птах, и не звон весенней капли. А что это были за звуки, понять не могла.

Она ощупью пробиралась за Федором, за его голосом, который ее направлял:

— Сюда, сюда иди... Тутотка не споткнись, порожек... Сейчас придем...

И правда, теперь стало повиднее. Горела толстая сальная свеча, прикрепленная где-то наверху. Санька осмотрелась: не очень тут приглядно! Громоздясь, стояли какие-то холсты, густо и грубо размалеванные. Старые стулья, столы. И много разной рухляди и дребедени. И пыль тут была в достатке, и паутина кое-где свисала. В общем-то, неказисто...

Здесь Федор и начал свою торговлю. Заговорил негромким, но слышным, певучим голосом:

— А кому сбитня... Горячего, имбирного, медового! За кружку — полушку! За две кружки — две полушки! А три — задарма, ежели деньги на бочку! Налетай, набегай, забирай...

И тут увидела Санька: на голос Федьки со всех сторон стали сходить люди. Бог ты мой, да люди ли? В белых длинных

одеждах, в каких никто никогда сроду не ходит. Лица же у всех размалеваны — страхота! Да не румянами, не белилами, а желтой, синей, серой краской. Один чуднее другого. Свят, свят, свят, не черти ли из преисподней? Куда же Федька ее привел?

Но люди, которые подходили и справа и слева, окружив Федю со всех сторон, были обыкновенными людьми. Сбитень пили, похваливали, просили еще наливать. И голоса у всех были людские:

— А ну-ка, Феденька, еще...

— Хорош, хорош сбитень! Удался...

— Налей-ка, надо перед началом оргàn промочить.

— Вовремя явился... А почему вчера не был?

— Он знает, когда являться, своего не упустит. Вчера французский был спектакль, они сбитня не пьют.

— Налей, Федор, друг любезный! Твой напиток подобен нектару! Эх...

Федя наливал каждому, на всякое слово отшучивался, а сам нет-нет да и глянет на Саньку: видишь, мол, как меня тут знают? За своего почитают.

Это Санька и сама видела: Федор был на своем месте. Всем знаком. Но еще заметила Санька и другое: каждому Федя наливал до полна, иной раз до того щедро, что и через край. Не помышлял, чтобы кому-нибудь не долить. А иному и совсем давал без денег.

— Ты уж прости, Феденька, опять ни гроша, а пить до смерти охота!..

— Ладно, когда будет, отдашь.

И Санька одобряла такое поведение. Не сквалыга парень. Саня тоже никогда не была жадной.

Однако по всему было видно, что Федор торопится распродать свой сбитень. Куда-то, видно, спешит. То и дело приговаривал:

— Поспеем ли? В раек ведь лезть... Высоконько!

Раек? Еще одно словцо непонятное. Непонятное, а любопытное. Куда же ему лезть придется? О том, что и ей, Саньке, придется лезть в этот самый непонятный раек, об этом у нее пока и в мыслях не было.

С одним из актеров Федя вступил в разговор. Перекинулся несколькими фразами. Поглядывал на Саньку, как бы похвалиться: видишь, каков я! Много чего знаю...

— Нынче не трагедия ли господина Озерова?



- Его-с! «Эдипа в Афинах» будем представлять.
- А в первой роли не господин ли Плавильщиков?
- Он самый, Петр Алексеевич!

Вдруг Федор наклонился к самому Санькиному уху. Прошептал:

- Сам идет...
- Кто? — шепотом переспросила Санька.
- Первый наш московский трагик — Петр Алексеевич Плавильщиков.

Мимо, тяжело ступая, прошел старик. Был он с седой бородой (борода-то была привязная, но этого Санька не поняла), с седыми длинными волосами (и на голове его был парик, но и об этом Санька тоже не догадалась). Белые его одежды свободными складками ниспадали с плеч до самых ног. На ногах были сандалии с прикрепленными вокруг щиколоток ремешками.

Только в этом проходившем мимо старце в чудном белом одеянии Санька не признала и не могла признать того барина, которому давеча на Тверском бульваре вернула кошелек, за что была щедро награждена серебряной полтиной.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### О ТОМ, КАК САНЬКА СМОТРЕЛА ТРАГЕДИЮ ОЗЕРОВА «ЭДИП В АФИНАХ»

Наконец Федор сказал:

— Все. Закрываем торговлю. Скоро начнется, надобно поспешать.— И прибавил, поболтав в чайнике остатком сбитня: — Да тут на донышке осталась самая малость, потом допьем! — И, уже обращаясь к Сане, проговорил: — Теперь полезем с тобой в раек.

Санька удивилась несказанно:

— Со мной?! Да ты что...

— Неужто не желаешь поглядеть представление про царя Эдипа?

Хотеть-то Саньке очень хотелось, а домой? О господи! Опустив глаза, она в нерешительности теребила, мяла, перебирала пальцами бахрому своего пунцового полушалка.

Потом шепотом спросила, подняв на Федора покорные глаза:

— И это с собой потащим? — Она показала на пустые из-под сбитня чайники и глиняные кружки.

— Разве можно? В храм Мельпомены? — чуть ли не с ужасом, хоть и весело вскричал Федор.

— В чей, в чей храм? — опять не поняла Санька. — В чей, говоришь?

Федя не стал объяснять. Сказал:

— Ладно, сама увидишь, — и засунул все свое торговое снаряжение за какие-то размалеванные холсты.

— А как утащут? — спросила Санька. — Прибьет тебя хозяин.

— Хозяин у меня хороший, не прибьет. Да и цело будет. Кому сие нужно. Полезли в раек.

Какими-то непонятными темными закоулками Федя провел Саньку к крутой и очень узкой лесенке, которая винтом закручивалась вверх. Куда? В тот самый раек, надо думать... Санька не стала допытываться, ломать себе голову. Доверилась уму-разуму своего провожатого. А Федя, видно, частенько тут бывал и хорошо знал эти места.

— Скорей, скорей, — поторапливал он Саньку. — Не отставай...

Саньке казалось, конца не будет этим скрипучим, еле освещенным ступеням. Думала: куда только Федор меня тащит и куда я, оглашенная, за ним лезу? Небось к богу в рай и то легче попасть, чем в какой-то здешний раек!

Однако не отставала. Лезла, шагала со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку...

А откуда-то сверху, а может, и снизу, а может, слева, а скорее всего отовсюду и все громче и громче доносился какой-то непонятный гул. Словно бы ветер разгулялся по вершинам огромных деревьев, и деревья эти, раскачиваясь из стороны в сторону, непрерывно и протяжно шумели.

А Федя ей хоть полушепотом, однако сердито:

— Ползешь, чисто улитка... Увертюра началась, слышишь?

Опять непонятное слово! У-вер-тю-ра... Господи, да что ж это такое? Язык сломаешь, пока выговоришь!

Санька с поспешностью устремилась вверх по лестнице.

Что и говорить — сумбур, сумятица, неразбериха царили сейчас в Санькиной голове. Из того мира, где все было ей ясно и понятно, где на смену весне приходило лето, а вслед за летом шла осень и зима, где весной нельзя было упустить денечка и надобно было побыстрее вскопать батюшкин огород, посадить репу, го-

рох, посадить чеснок да лук, да иные овощи, а летом за ними ухаживать — поливать и полоть, а по осени собирать и везти в базарный день на продажу, из того ясного и понятного мира Санька внезапно переместилась в иной мир, где для нее одно было непонятнее другого.

У-вер-тю-ра... Надо же придумать этакое слово!

Наконец долезли. Дальше было некуда. Они находились наверху, почти под самым потолком. А перед ними спина к спине, плечом к плечу стояли люди. Так тесно стояли, что из-за их спин нельзя было разглядеть, что делается впереди. И все больше, успела заметить Санька, находились тут из сословия мещанского или мастеровые, а благородных, какие на Арбатской площади вылезали из карет, тех вовсе не было.

— Теперь вперед будем пробираться,— шепотом через плечо кинул ей Федор.

Вперед? Куда же вперед-то, думала Санька, чувствуя себя дура душой. Впереди ведь сплошняком стоят. Не по головам же по ихним шагать?

Но Федя, чуть пригнувшись, заработал локтями и плечами. И стеной стоявшие люди невольно раздвигались и давали ему дорогу. Хотя на него сыпалась брань, иной раз и тумачи, Федор ни на что не обращал внимания. Знай себе лез да лез вперед. А Саньке что оставалось делать? Знала: нипочем ей нельзя оторваться от Феде. Без Феде прямая ей здесь погибель.

Уже немного...

И еще чуток...

Долезли!

И Санька невольно ахнула: перед ее глазами разверзлось огромное, глубокое пространство, полное света, людей, музыки и громкого гула человеческих голосов, теперь уже ничуть не похожего на гул деревьев, раскачиваемых ветром.

— Феденька,— чуть слышно прошептала она,— да что же это?

А Федор, поглядев на Саньку через плечо, с торжеством ответил:

— Храм Мельпомены! Теперь видишь, каков?

Арбатский театр, куда так неожиданно-негаданно попала Санька, был похож на все театры, которые строились в те времена в России и по всей Европе. Пышно убранный зрительный зал напоминал своей овальной формой огромную подкову. Овал этой подковы был замкнут сценой, которую закрывал занавес. А на занавесе, как полагалось в то время, было изображение трех муз:

Мельпомены — музы трагедии, Талии — музы комедии и Терпсихоры — музы пения и танцев. У одной в руке была маска трагическая, у второй — комическая, а муза пения и танцев перебирала пальцами струны лиры.

По всему овалу зрительного зала, начиная с партера, ярусами тянулись ложи. Нижние назывались ложи бенуар, затем шли ложи первого яруса, второго яруса, а над всеми ярусами и ложами, почти под потолком, находился последний ярус, тесная галерея, где зрители стоя смотрели спектакли. Галерейка эта и получила наименование «раек».

Перед сценой находился оркестр. Даже если шла трагедия, драма или комедия, перед началом спектакля музыканты играли увертюру, а между действиями были обязательны оркестровые пьесы.

Храм Мельпомены...

Так вот он каков!

Санька с восхищением взирала на красоту этого храма, который ничуть не походил на тот храм, куда она с отцом, мачехой и сестрицами ходила молиться богу. Вот разве только красивое круглое паникадило со множеством зажженных свечей, оно было похоже на церковное. Да и то нет! Хоть и спускалось с потолка, да было сплошь увешано прозрачными стекляшками, вроде ледяных сосулек, какие свисают по краям кровли, когда ранней весной начинает припекать солнце. И стекляшки здесь, сверкая разноцветными искорками, играючи и веселясь, ударялись друг о дружку и нежно позванивали.

А за бархатными перильцами сидели нарядные барыни. Все с голыми плечами, с голыми руками. От жары, а может, так полагалось, то и дело опахивали себя распрекрасными махальцами с перьями заморских птиц. А мужчины, и старые и молодые, весьма разнаряженные, те подносили то к одному глазу, то к другому небольшие трубочки и глядели сквозь них и туда и сюда, и во все стороны.

Сколько лет прожила Санька на этом свете, а такого не случилось видеть!

Она чуть-чуть привстала на цыпочки. Из-за Фединой спины, через его плечо глянула вниз. Со страха зажмурилась: глубокая пропасть перед ее глазами. А на самом дне этой пропасти рядом сидели мужчины. И всё больше военные. Надо думать, одни генералы. И Санька, разглядывая их макушки и на плечах сверкающие золотом эполеты, подумала: вот будет страсть, коли

вдруг пол в райке проломится да все они, как из рогожного куля, посыплются на эти макушки!..

Но больше всего ей понравилась та огромная картина, которая висела прямо перед ее глазами. Она не знала еще, что этот театральный занавес, закрывавший сцену, вот-вот должен подняться. И тогда откроется то главное, ради чего сюда пришли нарядные барыни и господа и ради чего здесь, в райке, в духоте и жаре толпились люди в ожидании начала спектакля.

Но пока занавес был спущен, и Санька любовалась красивыми розовыми ангелами без крыльев, которые летели по голубому небу среди белых облаков. И были эти розовые ангелы — а может, вовсе и не ангелы — чуть-чуть прикрыты прозрачной кисеей, и прозрачная эта кисея, похожая на туман, вилась вокруг них и летела вместе с ними по голубому небу среди пышных облаков и слегка колыхалась. Красота, глаз не оторвешь!

Но вот музыка вдруг смолкла, и Саньке показалось, будто она вместе со всеми людьми в райке медленно опустилась вниз. Она невольно ухватила Федора за рукав.

— Ты чего? — обернувшись, спросил тот.

Но Санька уже смекнула, что не они опускаются вниз, а наоборот — все ангелы, все облака и голубое небо, все это поднимается вверх. Поднимается все выше, все выше, исчезая где-то в невидимой высоте.

И перед Санькиным взором сперва открылся обыкновенный дощатый пол, потом она увидела богато убранный шатер, а сбоку какой-то лес из странных остроконечных деревьев. Среди деревьев стоял дом. Был этот дом чудной — из одних круглых столбов, к тому же с плоской кровлей. А вдалеке, словно в какой-то голубоватой дымке, виднелся большой город. Потом с пригорка спустились люди в длинных белых одеждах и запели под музыку. Пение их Саньке понравилось, было оно громким и складным, хотя ни одного слова она не разобрала.

Пели они довольно долго, а когда кончили, из шатра вышел статный человек, тоже в длинной белой одежде и с золотой короной на голове. Он простер вперед руку и стал говорить:

О славный мой народ, сыны мои любезны!  
Когда для вас могли мои быть дни полезны...

Этот человек хоть и не пел, а говорил, но говорил таким голосом, каким люди никогда не говорят.

— Федя,— Санька легонько подергала Федора за рукав,— это кто же такой будет?

Федор в ответ чуть слышным шепотом:

— Василий Петрович Померанцев. Представляет афинского царя Тезея.

Но Санька все равно не понимала:

— Говорит-то он чего? Чего говорит-то?

Тут Федор на нее огрызнулся:

— Не мешай! Потом расскажу...

И Санька поняла, что к Федору приставать нечего. Федору теперь не до нее. Вон как впился глазами в людей, которые представляют...

Все первое действие Санька мучительно боролась со скукой, усталостью и зевотой. Ничего не могла уразуметь. Зачем-то еще один человек подошел к шатру, чего-то стал говорить первому. Так они переговаривались долго-долго. Один скажет, потом другой скажет. Опять один, снова другой... Господи, да как им не надоест!

Она обрадовалась, когда наконец сверху спустился занавес с розовыми ангелами и белыми облаками и когда заиграла музыка. Хоть есть на что поглядеть да есть чего послушать.

Едва наступил антракт, Федор повернул к ней разгоряченное лицо, блестя глазами, стал выпрашивать:

— А Померанцев-то каков? Понравился он тебе, Саня? Как говорил-то! Голос каков, голос...

Санька покивала: мол, да, да, понравилось! Но глаза отвела, чтобы не выдали, что ничего она не поняла и что скука смертная ее одолевает. С тоской думала: доколе же мне, бедной, тут мытариться? И ноги гудят, и есть охота, а в сон клонит, моченьки нет... Кажется, стоя бы уснула.

Однако когда после антракта опять заиграла музыка, когда поднялся занавес и началось второе действие, Санька весьма заинтересовалась. Как всё проворно переменили там, где представляли актеры. Ловкачи! Город, который виднелся вдали, теперь пропал, будто его и вовсе не было. А роща непонятных деревьев с острыми, как у веретена, макушками (надо же такие придумать?! Сроду в лесу таких не видывала...) росла теперь у самого края. И на опушку этой рощи вышли двое: старик в белой одежде, тот самый, на которого ей давеча показал Федор, а с ним девица, тоже в белом. Красивая девица — видная, полная, гладкая...

Старик заговорил тихо и печально, однако каждое словечко можно было разобрать:

— Постой, дочь нежная преступного отца!  
Опора слабая несчастного слепца!

Странно знакомым показался Саньке голос старика. Словно совсем недавно — не нынче ли? — слышала она его... Но где, когда?

— Плавильщиков несчастного Эдипа представляет, — шепнул Федор. — Антигону, дочь его...

Но Санька не забыла, как недавно Федор обрезал ее, и теперь в отместку сама его осадила:

— Сама знаю. Не лезь, когда не спрашивают...

Федор от удивления только глазами захлопал: ну и девка! Не подступись.

А там, на сцене, действие шло своим чередом.

Антигона, показав рукой на камень, промолвила:

— Здесь камень вижу я; над ним древа склонили  
Густую сень свою. Ты отдохни на нем.

Эдип же, сев на камень, ей отвечивал:

— Спокойно, — я мой век на камне кончу сем.

А дочь ему:

— Ужасною тоской твои все мысли полны.

А отец ей:

— Видала ль на берегу, когда извергнут волны  
От грозных бурь морских обломки корабля?

И снова они давай переговариваться: она ему скажет, он ей скажет. Опять она ему, снова — он ей... Говорили долго-долго... А у Саньки в голове свои думы: «Приду домой, повинюсь перед батюшкой. Жалко его, бедного. И от мачехи ему не сладко, а тут еще я прибавила...» И потому ли, что пожалела своего отца или разжалобил Саньку голос слепого старика в белых одеждах, но почувствовала она, что по щекам ее ползут теплые слезы.

А тут еще и такие слова промолвил старик:

— Ты утешенье мне, любезна Антигона,  
Против гонения одна мне оборона...

И Санька вдруг ощерилась на злодейку мачеху и твердо решила: коли та еще раз начнет бранить отца, она его в обиду не даст. Вот как эта самая Антигона, будет отцу заступой и утешением.

Долго ли глядела она на то, что творилось перед нею на сцене, трудно сказать. Но вдруг поняла, что так устала, так истомилась, что ежели где-нибудь сейчас же не присядет, то повалится прямо на людей, стоявших вокруг. Ноги у нее сами собой подламывались от усталости. Да еще босиком была бы или в лаптях, а то эти новые проклятые полусапожки...

Она тихохонько, молчком, боясь потревожить Федора, стала выбираться из толпы. Пятилась спиной. И люди тотчас перед ней тесно смыкали свои ряды. И теперь, если бы Саньке даже захотелось вернуться на прежнее место, вряд ли удалось бы ей пробиться через сомкнутые ряды зрителей.

Но ей этого и не хотелось. Она вроде бы уже спала на ходу. Она не помнила — ни как выбралась из толпы, ни как отыскала укромный уголок, чтобы опуститься на пол. Но едва она присела, голова ее сама собой упала на колени, ресницы смежились, и она уснула крепко и непробудно.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### О ТОМ, КАК САНЬКА ВЫБИРАЛАСЬ ИЗ ТЕАТРА

А проснулась она внезапно. Спросонок ничего не поняла, только сильно озябла. Хотела чем-нибудь прикрыться, что-нибудь на себя натянуть, но под рукой ничего не нашла. И подушки не было. Спала на голых досках.

Да что же это такое?

И, уже полностью проснувшись, широко открыла глаза.

Кругом стояла крошечная тьма. На том месте, где в горнице полагалось быть окну — оно и в темные осенние ночи белесо светилося, — окна и в помине не было. И еще: царило какое-то непривычное глухое безмолвие. Ни скрипа половиц. Ни сонного кряхтения спящих. Ни таяканья пса у ворот. Ни оторопелого кудактанья встревоженных кур во дворе. Ни одного из тех зву-



ков, какие дома сопровождают даже самую полную ночную тишину.

«Вот наваждение-то! — подумала Санька. — Да, может, я еще сплю?»

И вдруг словно молнией ожгло — все вспомнила. И как нынче поутру возле колодца узнала от соседской Параши, что покойной матушке и батюшке вовсе она не родная дочь, а безродный приемыш. И как, закручинившись, полезла на березу. И как отхлестала ее мачеха по щекам, а батюшка со всего маху дал подзатыльник. И как от обиды ушла она из дому и полдня блуждала по Москве. И как забрела на Тверской бульвар. И как увидела на земле кошелек. И про полтину вспомнила. И про негодного воришку Алексашку. И про сбитенщика Федора. Все вспомнила. Все пронеслось в мыслях одно за одним...

И наконец сообразила, что находится она не где-нибудь, а в храме Мельпомены, куда давеча привел ее Федор. Привел поглядеть на представление, а она-то, дура темная, сермяжная, ничего не поняла и уснула намертво.

Вот тебе и храм Мельпомены! Ах, срам какой... Небось Федя со смеху давился, увидя, как она спит.

Но тут же и обида ее взяла: бессовестный, привел в этот вертеп и кинул одну-одинешеньку... Не разбудил, не поднял, оставил тут в темноте. Разве так делают хорошие люди?

Не знала и не могла знать Санька, как искал ее Федя, как ломал голову, не понимая, куда могла сгинуть девчонка. Как выспрашивал у того и этого, не видел ли кто такую чернобровую, в аленьком платочке. И, уж не найдя ее, скрепя сердце покинул театр. Не досмотрел трагедии Озерова «Эдип в Афинах», не видел «Скапеновых обманов», комедии Мольера, в которой Сандунов Сила Николаевич до коликов в животе смешил зрителей. А уйдя из театра, он и на улице пробовал искать Саньку. Смотрел ее по всем арбатским переулкам. И, уже вконец отчаявшись, полный обиды на Санькино вероломство, отправился в Хамовники сдавать хозяину дневную выручку за проданный сбитень.

Всего этого, конечно, Санька не знала и знать не могла. А сейчас, очнувшись от того глубокого сна, который так внезапно и так некстати сморил ее, стала обдумывать: как же отсюда выбраться, а выбравшись, вернуться домой? Иного в голове она в тот миг не держала. «Ой, Санька, Санька, чего же мы с тобой станем делать?» — подумала она. Туда-сюда поглядела, хоть ровным счетом ничего не увидела.

Но была она девчонка смекалистая и в трудные минуты разума не теряла. И сейчас, поразмыслив немного, решила, что перво-наперво надобно спуститься с той верхотуры, куда затащил ее Федор.

Ну, а там авось бог поможет!

Ощупью, словно слепая, шаря ладонями по стене, стала искать лесенку, по какой они поднимались сюда. Шла медленно, осторожно, сомневаясь, в ту ли сторону она побрела. А может, ей надобно было налево?

Но вдруг под ее ладонью стена словно бы завернула вбок, а Санькина нога, не нащупав досок пола, как бы ступила в пустоту.

Так и есть!

Нашла!

Теперь, Санька, давай топать вниз...

Со ступеньки на ступеньку, держась за хлипкие перильца, которые под ее рукой ходуном ходили, стала спускаться. Радовалась — хоть лесенка отыскалась. Тешила себя: ну, Санюшка, теперь за малым стало! Помнишь, дверей-то сколько мы с тобой видели в этом доме? Небось не забыла, какая их пропасть, дверей-то этих? Неужто все до одной на замке? Какую-нибудь да и позабыли запереть. Вот и выйдем мы с тобой через эту дверь на волюшку. А дорогу домой в два счета отыщем. Неужели нет?! И тогда уж ни за какие пряники, ни за какой сбитень, ни за медовый, ни за инбирный, нас с тобой Федор сюда не заманит. Ногой сюда, Санька, мы никогда не ступим! Чтобы мы сюда пришли, в этот проклятуший... Как этот храм величал Федор? Разом из головы выскочило!

И наконец под ногами снова ровный пол. Ступеньки кончились. А теперь куда? Новая загвоздка. Направо аль налево? А может, и вовсе прямо шагать? Куда идти, ежели ни зги не видно?

И тут впервые Санька растерялась. Что делать? Как быть? Решила подать голос. Сначала негромко позвала:

— Эй, люди добрые...

Тишина ей была ответом.

Погромче крикнула:

— Отзовись, коли есть живые...

Никто не отозвался.

Но в этой тишине Санька услышала, вернее, почувствовала возле своих ног какую-то возню, беготню, чей-то писк, какие-то

шорохи... И, к ужасу своему, поняла, что вокруг нее шныряют, копошатся, носятся мыши. Кишмя кишат.

А может, не мыши? Крысы?..

А уж про крыс, про их зловредные козни Санька такого слышалась... От страха волосы у нее на голове зашевелились и, не помня тебя, она заорала во весь голос...

И вдруг увидела в темноте два огненных глаза. Два огромных огненных глаза. И эти огненные глаза двигались прямо на нее. В Санькиных мыслях пронеслось — сам сатана вылез из преисподней и сейчас утащит ее, Саньку, в адское пекло. Так ей, грешнице, и надо — гореть у сатаны в огне. Так ей и надо, так ей и надо...

И чтобы не видеть чудища, которое к ней приближалось, Санька не только зажмурилась, но и закрыла лицо ладонями. Сердце у нее замерло, словно бы навек остановилось. Будь что будет!..

Совсем близко услышала медленные шаркающие шаги. Кто-то остановился рядом. Сквозь сомкнутые веки в глаза ей пробился теплый розовый свет. И она услышала дребезжащий смех. И голос:

— Да отколь же ты взялась, сударушка? Из каких мест тебя занесло?

Санька отвела от лица руки. Заодно открыла и глаза. Перед ней стоял старичок. В руках держал подсвечник с двумя свечами. Подсвечник чуть колыхался в его руке, и пламя свечей тоже чуть колыхалось. Поднеся свет поближе к Санькиному лицу, старичок с веселым любопытством ее разглядывал. Разглядывал и посмеивался.

А сам-то был совсем седенький. И до того махонький, что коли сложить его пополам, так можно бы всего в карман упрятать.

Все так же беззлобно посмеиваясь, он проговорил:

— Сперва слышу чьи-то шаги. Кто, думаю, с лестницы спускается?

— Это я, — шепотом ответила Санька.

— А больше и некому. Потом кто-то стал кричать.

— Опять же я, — прошептала Санька.

— А кричать зачем вздумала?

— Со страху...

— А испугалась чего?

— Мышей тут много.

— Ишь какое дело! Съедят они тебя, что ли?

А Санька теперь уже расхрабрилась. Рядом человеческая душа, можно не бояться ни крыс, ни мышей, а уж сатаны и по-давно.

— А крысы, они могут человека сожрать. Намедни у нас в слободке...

— Ладно, об этом потом будем разговаривать. А сейчас пошли ко мне в каморку. Надо ведь разведать, кто ты такая, отколь взялась? Может, Бонапартова шпионка.

— Чего-с? — не поняла Санька.

— Говорю, может, ты французским императором Наполеоном Бонапартом к нам присланная...

Санька обиделась:

— Да что вы, дедушка! Такой в нашей слободке сроду не проживал.

— Ладно, ладно, иди за мной. Может, придется квартальному сдавать,— не то в шутку, не то всерьез говорил старичок.

Санька испугалась. Про квартальных она хорошо знала. Квартальный—это не сатана, этот и в каталажку посадит, и кнутом может запороть.

Старичок шел в темноту, освещая себе дорогу. Санька покорно и устало брела за ним следом.

— Сюда, сударушка, входи,— сказал он, открывая маленькую дверку.

И Санька ступила за порог комнатухи.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### О ТОМ, КАК САНЬКА СВЕЛА ЕЩЕ ОДНО ЗНАКОМСТВО

— Сюда, сюда, сударушка, не робей! — приглашал старичок, распахнув перед Санькой дверь.— Мышей тут не имеется, вот разве какой змей-горыныч али тигра азиатская... Так мы на сих зловредных чудовищ найдем управу.

И Санька вошла в каморку. Ее встретил восхищенный возглас:

— Ах, дедушка, дедушка... Да отколь ты такую выискал? Шарман, шарман! Боку шарман... Ах, ах, ах, до чего же боку шарман, жоли, бель! — лопотала и лепетала маленькая девушка под стать такому же маленькому старичку.

Была она вся беленькая, со светлыми кудряшками, которые вились вдоль щек. Ясные ее глазки светились, искрились, смеялись навстречу Саньке. Веселые, легкие слова тоже летели прямо на Саньку. Впрочем, того, что говорила девушка, Санька почти не понимала. Слова ее для Санькиного слуха были мало вразумительны. Но все же она уловила — кого-то девушка уж очень хвалит, так хвалит, что даже захлебывается похвальбой. Но кого же? И Санька ошалело повертела головой, поискала: «Кому же такие слова расточаются?»

— Где нашел, там теперь такой нет, Анюточка,— сказал старик, подталкивая Саньку к ветхому креслу с ободранной обивкой желтого атласа.— Садись, сударушка. Присаживайся, в ногах правды нет.

Санька осторожно присела на самый край, глаз не спуская с беленького личика девушки. А та, наморщив тонкий носик, воскликнула:

— Сколько раз просила тебя, дедушка, не называй меня Анюточкой. Запомни, дедушка: Анеточка... Да, да, Анеточка!

— Чем же Анюточка-то плохо?

— Фи, совершенная деревня!..

— Эх,— старик сокрушенно вздохнул,— совсем офранцузилась ты, внучка!.. Скоро забудешь, как на родном языке надобно говорить.

Между тем беленькая девушка продолжала смотреть на Саньку, всплескивая руками (а ручки-то у нее были маленькие-маленькие, будто лапки лягушонка), и приговаривать свои «боку шарман», и снова «боку», и опять «шарман», и еще какие-то слова. И всё «ах» да «ах», «ох» да «ох»...

Господи, уж не колдует ли? Саньке захотелось осенить себя крестным знаменiem. Постеснялась. Однако про себя на всякий случай прошептала: «Свят, свят, свят...» И все же наконец поняла, что все слова, какие девушка произносила, сияя восторженными глазками, относятся именно к ней, к Саньке. Это ее, Саньку, девушка расхваливает на все лады и словами понятными и вовсе непонятными.

Тут Санька скинула с головы платок, поскорее пригладила ладонями кудрявые волосы, перекинула со спины на грудь тяжелую косу и засовестилась.

— Да что вы, барышня!..— и, зардевшись от удовольствия, заслонила уголок платка. Дома ей ни мачеха, ни сестрицы хорошего слова ни разу не сказали...

Старичок же усмехнулся:

— Какая она тебе барышня! Анюточка прислуживает...

— Опять, дедушка?! — Девушка гневно притопнула каблучком.

— Прости, мой ангельчик, не сердись! — И, обращаясь к Саньке, Анюточкин дедушка пояснил: — Внучка моя прислуживает мамзель Луизе Мюзиль. А мамзель Луиза Мюзиль, сударушка моя, не кто-нибудь, а французская актерка. Прежде в комедиях всех со смеху морила, премиленькая была особа. Теперь же перешла на амплу благородных матерей. И еще в разных барских гостиных французские романсы поет. Так, мой ангельчик?

Анюточка подтвердила и тут же прибавила:

— А я ейная любимая камеристка! — При этих словах она сделала поклон: одну ножку под себя подогнула, ухватила пальцами широкую юбку и низко присела.

И снова Санька подивилась: все не по-людски. Насмотрелась она за нынешний день такого, что во всю свою жизнь не видывала...

— А тебя-то как звать-величать? — спросил дедушка.

И в который раз за день Санька назвалась:

— Александрой нарекли. Дома Саней зовут...

— Фи донк! — вскричала Анюточка. — Опять совершенная деревня. Я буду тебя звать Александрина...

— Нет, уж нет, Анюточка! — в полном возмущении воскликнул дедушка. — Прости, ангельчик мой, опять оговорился... Какая она Александрина? Помилуй бог!

— Тогда, ма шер, будешь Санечка! — И девушка, вскочив с места, кинулась обнимать и целовать Саньку.

О господи! А обнимать-то зачем? А целовать-то зачем? Чудная все же эта самая Анютка...

— Небось есть хочешь? — спросил дедушка.

— Ох, охота!.. — шепотом простонала Санька.

— За чем же дело стало? Ну-ка, внучка, собери на стол! Чтобы дым коромыслом и последняя копейка ребром! — И старичок, захлопав ладошкой об ладошку, радостно засмеялся.

— Сейчас, сейчас, дедушка! У меня тут много всего припасено.

— Откуда? — строго допросил старичок.

— Да не страшись, дедушка. Чужого не возьму. Это Фекла мне в узелок навязала. «Снеси, мол, своему дедушке. У него

небось и сухой корочки не имеется...» У нас третьего дня суаре был, гостей принимали, много чего осталось. А Фекла, — пояснила Анюта Саньке, — это наша с мадемуазель Луизой кухарка...

Анюточка быстрехонько развязала узелок и давай выкладывать на стол и то и се. И не простое, а всё одно господское, невиданное...

— Сие паштет называется... а сие — бламанжэ...

А когда досыта наелись, Санька все без утайки рассказала. А чего ей было таиться? Вся была как на духу.

— Так, так... — задумчиво глядя на Саньку, промолвил старичок. — Стало быть, и не заметила, с каким чувством Петр Алексеевич Плавильщиков играл нынче свою роль? Как обращался к злодею Креону...

Тут старичок проворно вскочил со своего места, выпрямился, насколько ему позволил малый рост, и гордо приподнял седую голову. Заговорил голосом, полным величайшего достоинства:

— Но не увидишь слез и не услышишь стоны;  
Нет, ими веселить не буду я Креона!

И, сделав паузу, он торжествующе сказал:

— Хотя я в нищете, но не сравнюсь с Креоном!  
Я был царем, а ты лишь ползаешь пред троном.

При последних словах отвращение загорелось в его глазах. Санька вздохнула. Нет, ничего такого она не слыхала и не заметила. Наверно, все главное проспала.

— А что в публике-то делалось, ай-яй-яй! Театр гремел от рукоплесканий. Да, сударушка, хоть должность моя и небольшая, из суфлерской будки реплики актерам подавать, однако же и я рыдал от избытка чувств... О господи боже мой, что за талант... Что за истинно русский талант! А у нас на языке французы да французы...

Последние слова он произнес, поглядев на внуку. Но та за словом в карман не полезла. сама напустилась на дедушку:

— Ну и не заметила... Ишь какое дело! Не вздыхай, Санечка! Вот посмотришь на французских актеров — все заметишь. До чего же авантажны, распрекрасны! А туалеты... заглядишься! На французском говорят так ловко, так отменно — ничего не понять. Однако для уха одна прелесть! Вот сведу тебя на французов, тогда узнаешь...

Глаза у Анюточки разгорелись, и, говоря все это, она то и дело поглядывала на дедушку.

Санька покивала головой и стала подыматься: пора и честь знать. Отвесила поклон и дедушке и внучке: спасибо за ласку и угощение. Накинув на голову свой пунцовый полушалок, попросила:

— Покажите, как на улицу выйти. Пойду домой...

Анюточка заплескала белыми ручками:

— Да Санечка, да голубушка, да в такую-то пору? Да разве возможно? Да ведь полная ночь на дворе... Да не пущу я тебя! А вдруг какие злодеи на тебя, на такую раскрасавицу, посядутся... Да слыханное ли дело? Да нет, нет, нет...

И, расцеловав Саньку, сказала, что дедушка Степан Акимыч все равно спать не ляжет, потому что дедушке надобно к утру для мадемуазель Луизы роль переписать. Вот они вместе и лягут на дедушкино место. А коли дедушке шибко захочется спать, пусть возьмет вот это креслице атласное, на коем Санечка сидит, да еще второе, составит их и вполне поместится! А поутру она снесет роль мадемуазель Луизе. А завтра, если Санечке не захочется поглядеть на французских актеров, пусть идет домой...

— Только, дедушка, ты постарайся! В тот раз мадемуазель Луиза сказывала, три ошибочки допустил...

— Ладно, ладно, ангельчик мой, постараюсь... Как для тебя не постараться! Хоть я по-французски худо маракую, однако роли переписывать мне не впервой.

На том и порешили. Санька не стала противиться. Устала она до смерти, да и боязно было глухой ночью по улицам ходить. Не успела ее голова коснуться подушки, как уснула крепко-накрепко.

А проснувшись, поутру, Саня удивилась: где она? Рядом спит молоденькая девушка. В окошко светит солнце. На столе, оплывшая, чадит и догорает свеча. И маленький седенький старичок, склонившись над бумагой, старательно скрипит высоким гусиным пером...

Потом, вспомнив вчерашнее, подумала: стало быть, всю ночь так и не ложился дедушка, всю ночь не сомкнул глаз? Переписывал роль для французской актерки, старался для своей любезной внучки Анюточки...



## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### О ТОМ, КАК ЗАВЕРШИЛИСЬ ЭТИ СУТКИ

Было позднее утро, когда Санька, выйдя на кривую Арбатскую улицу, направилась в сторону дома. Осеннее солнце чуть поднялось над крышами, и тени от домов, от деревьев, от высоких заборов протянулись поперек улицы, достигая противоположной ее стороны. Кресты же церквей черными тенями распластались прямо по кровлям.

Шла Санька не торопясь, по сторонам не глазела, размышляла. Мысли вертелись вокруг одного: как встретят ее дома? Долго ли будет браниться мачеха, что она, Санька, ровно сутки пропадала неведомо где. Да ведь расскажешь — не поверят, так чудно и затейливо все сложилось. А как поглядит на нее отец? Приветит или будет заодно с мачехой? Может, как давеча, отпустит обидный подзатыльник... О сестрицах, о тех думать нечего. Будут хихикать в кулаки. Чем Саньке хуже, тем им веселее. Толстые, злые. А соседи как? Ведь будут чесать языками, судачить между собой невесть что...

И не то чтобы Санька страшилась всего, что ее ждет, но хотелось, чтобы первые минуты возвращения миновали, хотелось поскорее взяться за всегдашнюю будничную работу и навсегда позабыть об удивительном вчерашнем дне, таком не похожем на все остальные дни. Но мысли о доме и всех домашних делах помимо ее воли то и дело перебивались воспоминаниями именно о том, что хотелось ей забыть. То думалось о Федоре, о его ласковой усмешке, когда он поглядывал на нее; то вспоминались дедушка Акимыч с Анюточкой; то возникали в памяти люди в длинных одеждах, непонятные их фразы, движения и еще — та распрекрасная картина с розовыми ангелами, которая то поднималась, то опускалась...

И обидно было Саньке, и досадовала на себя Санька, что люди, сидевшие в театре, глаз не сводили с актеров, каждое слово понимали, а она-то глядела на все и от скуки зевотой у нее рот сводило, а потом и вовсе уснула и самого главного не видела...

Эх, Санька, Санька, куда ты годишься? Темнота сермяжная...

И вдруг показалось Саньке, что все ей словно бы привиделось во сне. И как бывает, когда очнешься после дивного сна,

обратно в тот сон уже возврата нет и никогда не будет. Затосковала: видно, в те прекрасные места, в тот храм Мельпомены, и ей пути заказаны на веки вечные...

Неожиданно услышала:

— Александра Лукинишна...

Внимания не обратила. Не оглядываясь, шла дальше.

И снова:

— Александра Лукинишна...

Из-за забора бочком вытолкнулся прямо к ней вчерашний Алексахка. Замызганный, в той же драной кофте, однако же веселый-развеселый. Улыбался ей, рот до ушей разинул.

Все мысли, какие были в Санькиной голове, вылетели мигом. Остановилась. Поглядела на Алексахку, вспомнила, как он обманул ее, убежал с ее деньгами, и до того разъярилась, даже щеки запыхали...

Остановилась, руки уперла в бока да заорала:

— Явился, мошенник? Ах ты, аспид, ирод!

— Александра Лукинишна...

— Близо не подходи!

— Да Александра же Лукинишна, дайте слово молвить...

— Убирайся, пакостник!.. Как волка ни корми...

— Да ведь квартальный же... — Алексахка зашмыгал носом, и, Саньке на удивление, слезы бороздками потекли по его грязным щекам.

Может, слезы у мальчишки были и нестоящими, может, умел, когда надо, и слезу из себя выдавить, но все равно Санькина свирепость вмиг растаяла — доброе у нее было сердце.

— Какой еще квартальный? Говори, идол...

И Алексахка, жалостно шмыгая носом и размазывая по щекам слезы, рассказал, как дело было. Только хотел он разменять Санькину полтину у бабки, которая пирогами торговала, как увидел квартального. Ну, и кинулся от него наутек. А кинулся он от квартального, потому что квартальный, именно этот, с тараканьими усищами, давно грозился отодрать Алексахку как сидорову козу.

Санька чуть смягчилась:

— Так я тебе, мошеннику, поверила...

— Вот полтина-то... вот! — И Алексахка протянул Саньке ладонь, на которой лежала цехонькая и неразменная полтина. — Возьмите, возьмите... Я целый вечер вас искал, Александра Лукинишна.

Саньке стало жалко этого худого белобрысого оборвыша. Ведь, надо быть, один как перст на свете. Небось ни отца, ни матери, ни кола ни двора.

Сказала хмурясь, хоть хотелось ласковым словом приветить парнишку:

— Ладно, возьми себе полтину-то...

У Алексашки жадно сверкнули глаза:

— Вся моя?

— За сбитень отдашь... Запомнятовала, как звать-то?

Вот лукавая! Запомнятовала? Как же! Вчера вечером в голове — Федор да Федор. И утром, лишь глаза открыла, — опять все думы о нем: увижу ли когда? Встречу ли? Неужто на всю жизнь дороги разошлись? Велика ведь Москва, народу тьматьмушая, уж какая там встреча...

— Федьке?

— Ему. Найдешь и отдашь. Он скажет, каков должок.

— Да искать его нечего. Он там, за углом, стоит. Идемте, Александра Лукинишна. Он про вас уже поминал...

— Врешь! — А у самой щеки от радости запыхали.

— Истинное слово! — Алексашка перекрестился. — Как увидел меня, сперва чуть не прибил... Все из-за этой полтины, ей-ей! Потом приказал: найди, мол, ее... это вас, Александра Лукинишна! Где хочешь, а сыщи да отдай ей полтину. И еще ей скажи: весь вечер, мол, искал ее... Это все вас, Александра Лукинишна! Он ведь тут стоит, близехонько, желаете — сведу вас...

Но Санька, у которой все мысли были лишь о том, как бы ей хоть разок, хоть издали глянуть на Федора, вдруг отказалась. Гордость не позволила. Еще подумает, будто встала она спозаранку да по всей Москве бегают, его ищут. Нет уж...

Алексашке сказала: только ей и заботы глядеть на какого-то сбитенщика! И без него дел по горло.

Сама же, гордая и счастливая тем, что Федор ее не забыл, что хочет видеть, пошла своей дорогой.

Алексашка, глядя ей вслед, благодарно бормотал:

— Ишь ты, как одарила! Королевна... Как есть королевна! — и крепко сжимал в грязном кулаке подаренную ему Санькой полтину.

А королевна Санька поскорее свернула в боковой проулок. И вдруг ей под ноги кинулся знакомый черный пес. Арапка! Визжа от радости, он принялся прыгать и лизать Санькины руки.

— Арапушка, откуда? — как родному, обрадовалась ему Санька. И тут же увидела знакомую сивую кобылу, знакомую телегу, а на телеге батюшку и мачеху Степаниду.

Вот встреча так встреча! К добру ли только...

Отец обрадовался Саньке. Словно того и ждал, чтобы ее увидеть. Будто расстались они минут пяток назад и сговорились встретиться именно здесь, в этом переулке.

— Садись, девонька... А мы, вишь, уже расторговались! Нынче под Новинский ездили. Ходко шла торговля... Тпру, bestия! — задергал он вожжами, останавливая кобылу.

А мачеха?

Та уставилась в Саньку оловянными глазами. С минуту молчала, собиралась с силами. Потом стукнула Луку по шее.

— Ты в своем уме, старый пень? Девка незнамо где шаталась, да чтобы я такую в дом...

— Степанидушка... — робко начал Лука: рыжая его бороденка затряслась.

— Сорок годов знаю, что Степанида! — обрезала его. — А в дом все одно не пушу! Дочери-невесты растут, а ее в дом?! Такую срамницу, негодницу... — Поток бранчливых слов и оскорблений посыпался на Саньку.

Санька стояла оглушенная. Да за что ее? И вины-то за ней никакой. Неужто батюшка не вступится? Не защитит ее? Ведь ничего худого она не сделала. Да она все расскажет...

Степанида же продолжала орать. И чем больше орала, тем сильнее распалялась. Чем сильнее распалялась, тем яростнее были ее ругательства.

— Степанидушка... — попытался уговорить жену Лука. Только масла в огонь подлил.

— Пусть только порог переступит, негодная! Изобью, косу выдеру, глаза ее бесстыжие!.. — И брань с новой силой полилась на Саньку.

Санька молчала. Ни словечка. Только до крови прикусив губы, все выше и горделивее поднимала голову. Щурясь, смотрела на мачеху. А в глазах были и презрение и ненависть.

То ли не вынесла Степанида этого Санькиного взгляда, то ли иные мысли закопошились в ее голове, но вдруг приумолкла. Словно язык проглотила. С минуту молчала, потом произнесла медленно, с расстановкой:

— А коли охота ей домой, пусть вот тутотка станет на колени да троекратно мне поклонится до земли. Может, и пушу...

Санька, ничего не ответив, повернулась и пошла прочь. Услыхала за спиной жалобный голос Луки:

— Саня, Санюшка, куда ты?..

Услыхала злые слова Степаниды:

— Жрать захочет — на пузе приползет.

Но Санька знала, что скорее помрет с голода, но назад ей пути не будет.

Она брела, не зная куда, не зная зачем. Слезы застилали глаза, ноги же несли подальше от того места, где остались отец с матчехой. Арапка кинулся было за ней вдогонку, но, заскулив, отстал...

Утирая слезы, брела мимо домов, церквей, огородов, садов, пустырей. Оказалась вдруг в том самом месте, где вчера (неужто только вчера?) сидела на траве за скамьей и слушала непонятные речи двух господ. Сейчас, в эту пору дня, Тверской бульвар был малолюднен. По нему чинно и неторопливо, взявшись за руки, прогуливались малолетние барчуки и барышни со своими мамами да няньками.

Санька знала: повернуть ей направо — выйдет на Арбатскую площадь, к театру. Нет, туда не захотела. Пошла напрямик по Никитской улице, минуя церковь Вознесенья. В той стороне виднелись стены и башни Кремля. Впрочем, не думала она о том, что было у нее перед глазами. В голове вертелось: что делать ей, куда податься?

Вдоль кремлевской стены текла узкая мутная речка Неглинка. За лето пересохла, еле струилась между песчаных откосов. Медленно несла свои воды в Москву-реку. Побрела вдоль Неглинки. Вскоре вышла к Москве-реке. Постояла у реки. Бабы полоскали белье, били вальками, перекидывались словами и шутками. Купались ребятишки. Мужики поили стреноженных коней. Все люди казались сейчас Саньке довольными и счастливыми. У каждого есть дом, хоть какой-никакой, а дом! Крыша над головой... Придет ночь, знают, где голову приклонить. А она... Бездомная, бесприютная, одна-одинешенька на всем белом свете. Слезы снова выступили на глазах, защипало в горле.

Потом пошла прочь от реки, стала подниматься на пологую горюшку. Увидела дворец. Увидев, невольно остановилась и засмотрелась. Царский был этот дворец или какого уж очень богатого барина? Стоял весь белый, весь разукрашенный. За красивой чугунной оградой лежал пруд, на пруду плавали заморские черные лебеди с алыми клювами.

Потом Санька поднялась по Знаменке вверх и неожиданно все-таки вышла на Арбатскую площадь. Узнала театр. Остановилась возле в недоумении, в испуге, в растерянности. Стало быть, такова судьба. Наперекор идти нечего...

И, покорившись этой своей судьбе, еще не зная, радоваться или, скорее, печалиться, она подошла к той двери, из которой нынче вывела ее отсюда Анюточка.

Вошла в театр. Нашла путь в знакомую каморку. Толкнула беззвучно дверь и переступила порог.

Было тихо здесь в этот час. Дедушка Акимыч спал, пристроившись на лежанке. Прикрылся какой-то шубейкой. Сладко и тонко во сне посвистывал носом. Может, видел райские сны, а то и просто отсыпался после нынешней бессонной ночи.

Санька не стала его тревожить. Села на прежнее место, в то же ветхое кресло, крытое желтым атласом, днем-то оно было заметнее — старым-престарым и дырявым. Села и молча стала глядеть в оконце.

Глядела долго и неотступно. Постепенно день стал клониться к вечеру. Солнечные лучи, угасая, сначала оставили в тени самый низ бревенчатого дома, какой стоял против окна. Потом слегка задержались на его соломенной кровле. Потом осветили золотые луковки церквушки, видной за домом. А уж напоследок, перед тем как совсем погаснуть, освещенный солнцем, засиял только самый высокий крест на колокольне.

И крест этот светился долго и ясно, пока и с него не соскользнули последние закатные лучи. Но и тогда Саньке казалось, что тоненький дрожащий лучик все еще нежно теплится на небе — не то голубом, не то розовом. А может, это зажглась первая вечерняя звезда...

Тогда стал просыпаться дедушка Акимыч. Протяжно зевнул. Потянулся. Что-то пробормотал. Скинул с себя шубейку, спустил с лежанки босые ноги, еще разок потянулся, захрустев стариковскими косточками, и тут вдруг увидел Саньку. Увидел и словно бы глазам своим не поверил. Помигал и шепотом спросил:

— Сударушка, ты ли?

Санька ответила:

— Я, дедушка.

— Воротилась?

— Воротилась, дедушка.

— Не стряслось ли чего?

— Нет, дедушка,— ответила и глаза опустила. А реветь ей уже хотелось в голос.

Акимыч живехонько соскочил с лежанки, маленькими шажками подбежал к Саньке. Положил ей на плечо легкую и сухонькую стариковскую ладонь.

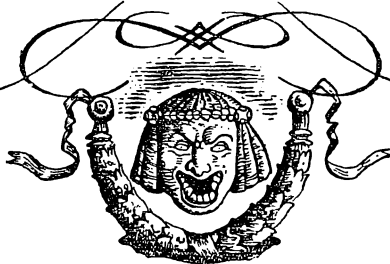
— Говори, девонька, чего стряслось? Все высказывай, не таись.

Тогда Санька, прикинув к стариковскому плечу, навзрыд заплакала. Между всхлипами все рассказала:

— Нет у меня более дома... Безродная, бездомная теперь я, дедушка...— И слезы полились сильнее прежнего.

— Как это — нет дома? — отстранившись от ревушей Саньки, вскричал Степан Акимыч.— Почему ж у тебя нет дома, сударушка? А тут тебе чем не дом? А я с Анюточкой разве тебе чужие? Нет, ты сказывай мне, ответь — чужие мы тебе?!

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

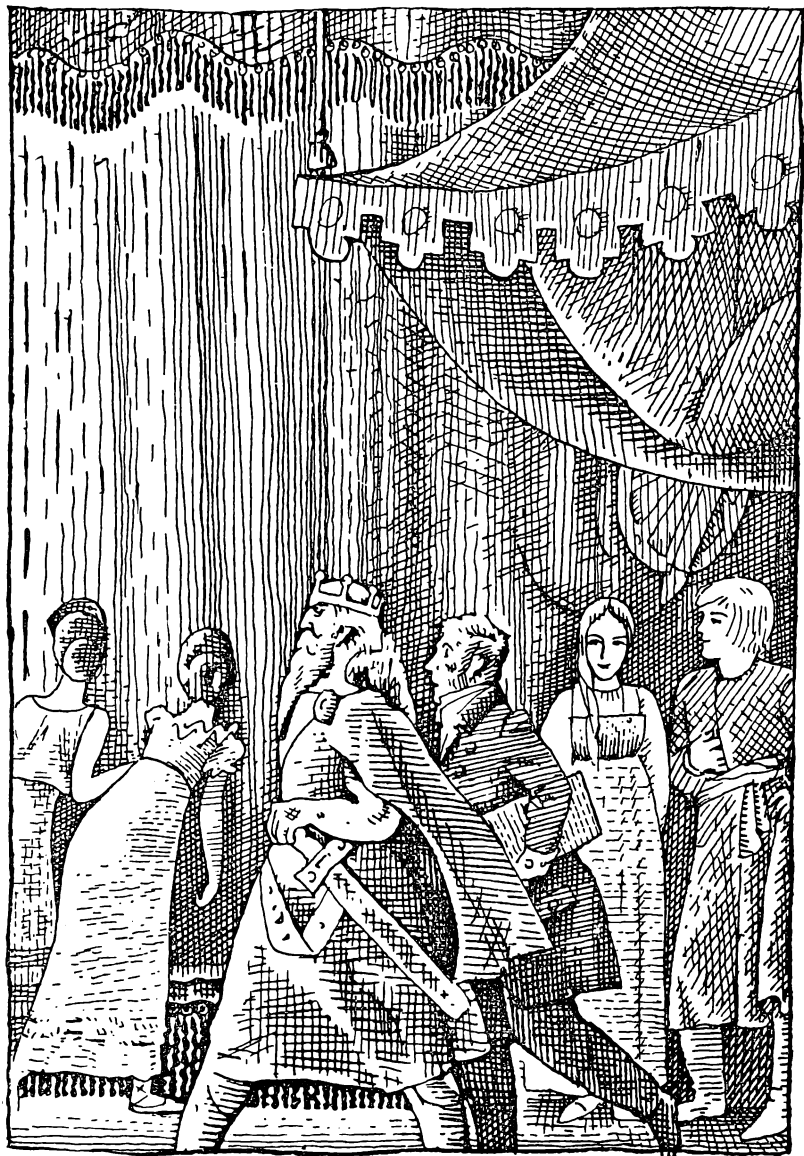


**СЛУЖАНКА**

**МУЗЫ**

**МЕЛЬПОМЕНИ**







## Г Л А В А П Е Р В А Я,

В КОТОРОЙ САНЬКА УЗНАЕТ КОЕ-ЧТО О МУЗЕ МЕЛЬПОМЕНЕ,  
СТАРОМ СУФЛЕРЕ АКИМЫЧЕ И О МНОГОМ ИНОМ

И началась для Саньки новая жизнь. Уж до того новая, что от прежней остались разве только праздничный сарафан, да полусапожки на каблуках, да алый платочек.

Поутру, лишь поднялись, Степан Акимыч стал куда-то собираться. Санька решила, что к внучке, к Анюточке. Уведомить ее — так-то и так-то, вчерашняя, мол, девчонка воротилась, некуда ей теперь податься, чего с ней будем делать?

Но Степан Акимыч, уходя, сказал:

— Сейчас, сударушка, в трактир по соседству сбегая, поесть принесу.

— Да я вам, дедушка, сама настряпаю!.. — воскликнула Санька. — Прикажите, всего наготовлю — и шей, и киселя горохового! Чего захотите... Я славно могу стряпать. Где у вас капуста лежит?

Степан Акимыч крайне удивился:

— Зачем же стряпать, голубушка? В трактире готовое имеется. Сбегая да принесу. А капусты отродясь в моих апартаментах не водилось.

Теперь пришел черед удивляться Саньке. Заахала:

— Как же без капусты-то? И репы не имеется? И гороха?

— Уж не обессудь... Ничего такого не держу. Да и печь топлю изредка, в зимнее время, когда морозы одолевают. Страшусь театр сжечь...— Сказав эти слова, Степан Акимыч убежал.

И осталась Санька в полном недоумении. Да как же так? И печь по утрам не топится. И капуста с горохом не имеется! Оно, конечно, театр сжечь страшно, да ведь можно аккуратно. Они-то избу не сожгли, а печь всякое утро топят. И напала на Саньку от этих мыслей ужасная тоска, и горько она заплакала...

Но плакала она недолго. Боялась, чтобы, воротясь, Степан Акимыч не застал ее ревушей. Утерла слезы, огляделась. Каморка была хоть маленькая, а чистенькая. Стол да скамья вдоль стены, да два ветхих креслица, да лежанка, на коей дедушка спал, да еще шкаф расчудесного вида. А может, и не шкаф? Кто его знает. У них дома такого не имелось. Хотела было Санька посмотреть, чего внутри делается,— не посмела.

Опять вспомнилось про дом. Опять на глаза набежали слезы. Хоть мачеха сквалыга, хоть сестрицы дуры, хоть не житье ей там было, а все родное место. Да и батюшку жаль...

Прощмыгала носом, смахнула со щек слезинки, стала глядеть в окно. Поняла, что каморка находится внизу, маленькое оконце уперлось прямо в землю. Возле стекла увидела чахлые травинки, они пробивались между здоровенными булыгами. А более нечего и глядеть: напротив окна — стена бревенчатая, сбоку — каменная, за домом, над его крышей, золотые маковки блестят. Стало быть, и церковь недалече.

А дома-то, дома! То ли дело... В окна черемуха так и просится, зелеными ветками постукивает. Весной душистая, цветами разукрашенная, к осени черные ягодки кистями висят, сами в рот лезут.

От тоски взялась за тряпку, окошко стала протирать. Ну и грязное! Ох, и грязное! Небось руки не доходили ни у дедушки, ни у Анюты. Только успела с окном управиться, пол подмести — Степан Акимыч воротился.

— Ай да хозяйюшка, какую чистоту навела! А теперь давай, девонька, поедим. Гляди, сколько всего притащил! Уж коли моя изба не больно красна углами, пусть будет богата пирогами. Ешь калач... Белее бывает ли? А вот кислая капуста. Закусывай да кваском запивай. Доктор Рожерсон... известно ли тебе, кто таков доктор Рожерсон?

Санька помотала головой: нет, неизвестно! А рот полон и

пшеничным калачом, и квасом, и капустой. Язык не повернешь, а вкусно — страсть!

— Доктор Рожерсон, сударушка моя, старейший из лейб-медиков покойной нашей государыни Екатерины Алексеевны. Вот он кто! Так сей доктор Рожерсон всегда говаривал: полезнее кислой капусты да кваса нет еды на свете. От сих продуктов здоровый дух и здоровое тело, а посему народу российскому надобно этой еды и придерживаться! Так-то! — И Степан Акимыч засмеялся.

Но Санька не поняла — смеется дедушка потому ли, что ему смешно и весело, или наоборот: совсем ему не до смеху, что народу российскому надо придерживаться капусты да кваса и более ничего не есть.

Пока же она уплетала за обе щеки принесенную из трактира снедь. Оно и правда — зачем самой стряпать, коли можно готовенькое принести. Что хорошо, то хорошо, ничего не скажешь!.. А насытившись, подумала: все же нужно достать капусты, гороха, солонины и наварить щей — жирных, густых. Еще горохового киселя. Пусть дедушка Акимыч поест домашнего, не трактирного, тогда скажет...

Оно, конечно, хорошо бы наварить дедушке таких щей — и густых, и жирных, а где все взять? И денег у нее нет, и пути домой нет, а как жить дальше — и вовсе неизвестно. Не сидеть же век у дедушки на шее!

И от этих дурных мыслей затуманилась Санька. Не спросить ли у дедушки, чего ей делать? Может, присоветует путное?

И спросила. Только совсем не о том. Про храм Мельпомены спросила, вот о чем.

Степан Акимыч крайне удивился:

— Откуда у тебя в голове такое?

— Да пришлось услышать... — уклончиво ответила Санька. — От одного человека. Слыхатъ-то слыхала, а в чем толк, не пойму.

И вдруг ни с того, кажется, ни с сего у Саньки сладко ёкнуло сердце — вспомнился Федор. Вспомнила, как лезла с ним наверх, в раек, как он на нее глядел... «Да ну его! И думать о нем не хочу. Из-за него, окаянного, вся моя судьба шиворот-навыворот повернулась». Хоть не хотела, а все равно никуда из ее мыслей Федор не уходил. Вот наваждение!

— Храмом Мельпомены театр зовется, моя сударушка! А кто такая Мельпомена, сейчас скажу. Слушай да вникай. Было это

в давние-предавние времена. Жил тогда прекраснейший бог. Звали сего бога Аполлон...

— Как, как прозывался? — переспросила Санька. О таком боге она еще никогда не слыхивала. Но по голосу Степана Акимыча поняла, что бог этот вовсе не тот и не такой, какому она в церкви молится, совсем на всевышнего не похожий, а совсем, совсем иной.

— А ты не перебивай меня, голубушка. Знаешь, какова стариновская память? Мигом все из головы прочь — начну, да не кончу... Так вот, стало быть, жил в одной такой стране, Элладой звалась та страна, бог Аполлон. Был он собой красавец, статный, золотые кудри, румянец во всю щеку.

Про себя восхитившись красотой бога Аполлона, Санька снова вспомнила Федора: тоже ведь собой красавец. А то нет?

— И было у сего златокудрого бога девять прекрасных прислужниц, — продолжал свой рассказ Степан Акимыч.

— Девять? — и на этот раз не удержавшись, переспросила Санька. — А на кой ему столько надобилось? Стада держал? Угодья были большие?

Степан Акимыч усмехнулся Санькиной темноте. Однако объяснил ей, что бог Аполлон и не сеял, и не пахал, а всё больше песни пел да музыку играл на золотом инструменте. А песни его были столь сладкозвучны, что и люди, и боги, побросав свои дела, принимались те песни слушать. Аполлоновых же прислужниц музами звали. У каждой была своя работенка и свое имя. Одна песни пела, эта Талия звалась. Другая день-деньской плясала — эту Терпсихорой звали. А которая в театре трагедии представляла, у той было имя — Мельпомена.

— Посему и театр зовется храмом Мельпомены, — закончил свой рассказ Степан Акимыч. — Уразумела теперь?

— А как же! — воскликнула Санька и вспомнила про тех розовых красавиц, какие были нарисованы на занавесе.

Видно, это и были прислужницы, они музами звались? Надо быть, одна из них и прозывалась Мельпоменой. Спросила: так ли?

— Так, так, моя разумница! Правильно разгадала сию аллерию. — Степан Акимыч помолчал и вдруг сказал: — А ведь смолоду и я актером был, Санечка. Не веришь? Таким молодцом был, красавцем. Опять не веришь? По глазам вижу, что не веришь...

Санька поскорее стала смотреть на пол. Да как тут поверишь,

чтоб такой махонький, да седенький, да старенький был молодцом и красавцем?

Голос у дедушки Акимыча стал тихим, задумчивым:

— В Ярославле тогда жил. Мне было годков двенадцать или около того, когда великий мой земляк Волков Федор Григорьевич открыл в нашем городе всенародный театр. И Дмитриевский Иван Афанасьевич... Знаешь такого?

— Не знаю,— ответила Санька.

— И он, сударушка моя, он тоже родом из моего города, из Ярославля. Его тогда Ваней Нарыковым звали. Соседями были. Вот — наш дом, а рядом — нарыковский. Забор с забором соприкасались. И его и меня в ту пору театр завлек до умопомрачения. Да и сам Федор Григорьевич Волков все свои торговые дела кинул, а только одним театром занимался. Театр — он таков: кого в свой плен заберет, до конца жизни не отпустит! Когда Федор Григорьевич со своими актерами стал представлять в Ярославле, прослышала о том сама государыня Елизавета Петровна. Послала за ними гонца, чтобы всех доставили в город Санкт-Петербург. Вот там-то и получил Ваня Нарыков новую фамилию. Говорят, сама царица нарекла его зваться Дмитриевским... Перед их отъездом в Санкт-Петербург прибежал я к Ване, стал молить его: «Ваня, про меня не забудь! Как я буду без вас, без театра?» А он мне: «Степа, Степа, клянусь тебе — не забуду! Как чуток оглянусь, и тебя выпишу...» Куда там! Иван Афанасьевич Дмитриевский — вон куда махнул — первейший актер русской сцены! А я недолго был актером, самое, можно сказать, кратчайшее время: таланта не достало и под сцену ушел, суфлером стал... Писал ему, но ответа не было. Забыл меня полностью. И тогда я задумал написать незабвенному нашему Федору Григорьевичу Волкову. Только слишком поздно хватился, лет через десять. А все эти десять лет до того томился, что расти перестал. А тогда уже вступила на престол царица Екатерина, и дошли к нам в Ярославль слухи, что Федор Григорьевич Волков у нее в большом почете. Написал ему: «Так-то и так, Федор Григорьевич, не забыли ль меня, парнишку Степу, который помогал в театре — и гром устраивал из пустой бочки, и светильники на рампе зажигал, и холсты краской малевал? Прошло с тех пор сколько лет, а я не могу от театра отвлечься, все только одна в голове дума — театр да театр». Что ж ты думаешь, Санечка, ведь не забыл меня, позвал... Великого разума и доброго сердца был сей муж. Благороднейший из смертных! Кинулся я в Москву.

Федор Григорьевич находился тогда в Москве, огромный маскарад вершил. По повелению царицы Екатерины Алексеевны разные удивительные зрелища затеял, чтобы ознаменовать ее восшествие на престол. А морозы в ту зиму стояли лютые, птицы на лету коченели и безгласно падали вниз. Федор Григорьевич простудился, недолго хворал и помер. Не пришлось с ним свидеться... Так и получилось у меня — в актеры я не пробился. А уж суфлером стал отменным: все комедии, все трагедии, все водевили могу суфлировать, в книгу не глядя. Всё в голове держу! Иной толкует, будто я из своей суфлерской дыры света не вижу, знать ничего не могу, ценить не смею... Так ты не верь сему, Санечка! Все вижу, все знаю, обо всем суждение имею. А Ивана Афанасьевича Дмитриевского не раз встречал, признал он наше прежнее знакомство. Однако не буду о нем говорить — на вершину славы вознеся человек... И боже мой, как эти проклятые исчадия ада — зазнайство, своекорыстие и равнодушие — умеют проползти всюду и уничтожить всякое доброе чувство в самом его зародыше!..

Ближе к вечеру Степан Акимыч приоделся, стал собираться на спектакль. Сказал, что нынче будет он суфлировать комедию «Ябеда» сочинителя Капниста.

— Пойдем, Санечка, а? Насмеешься вдоволь!

Но Санька отказалась.

— Куплетцы там сильно бойкие имеются. Послушай-ка... — И Степан Акимыч, подбоченясь, лихо запел тонким, дребезжащим голоском:

Бери, большой тут нет науки,  
Бери, что только можно взять!  
На что ж привешены нам руки,  
Как не на то, чтоб брать? Брать, брать!

Санька вдруг развеселилась. Вспомнила загребушие руки мачехи Степаниды, жадных до обновок сестриц и, засмеявшись, спросила:

— Как, как поется-то, дедушка Акимыч? Так, что ли?

И на манер Степана Акимыча уперлась руками в бока и, приплясывая, запела, в точности соблюдая и мотив и слова куплета. Степан Акимыч рот открыл от удивления. Проробормотал:

— Ишь ты... Ловко, сударушка, у тебя получилось! Очень ловко-с. Ну-кась, еще разок покажи...

Но у Саньки уже пропала охота петь и плясать. Сказала, что более не хочется ей. Может, в другой раз, а сейчас неохота.

— Не хочешь, и не надобно. А знаешь, в комедии о чем говорится? О лихоимстве да о взяточничестве. Еще при покойном императоре Павле, царствие ему небесное, комедия была написана. Как узнал об этом сочинении император, вошел в такой гнев — страх передать! Затопал ногами, царствие ему небесное, разорался и приказал немедля схватить сочинителя Капниста — и в Сибирь его на веки вечные. Однако после обильной трапезы и возлияния гнев его маленько поостыл, и пришло ему в голову новое: велел показать себе комедию в Эрмитажном театре. Согнали актеров. Начали. А театр пустехонек, никого. Один император во всем зрительном зале. Мы все — а я тогда тоже суфлировал — чуть ума не решились со страху. Ну как и нас всех следом за сочинителем упекут в Сибирь? Однако же после первого акта их величество вскочили с кресел и крикнули: «Вернуть его, вернуть тотчас же!» Тут послан был фельдъегерь вдогонку за несчастным сочинителем, чтобы обратно того в Санкт-Петербург доставить. А комедию их величество досмотрели всю до конца, в ладоши хлопали, смеялись... И такое иной раз случается, моя красавица, да весьма, весьма редко.

Затем Степан Акимыч, уходя, пробормотал: «Ловко это у нее получилось-то!» И вполголоса стал напевать:

На что ж привешены нам руки,  
Как не на то, чтоб брать? Брать, брать...

Санька осталась одна. Смотрела опять в оконце, и снова последний луч вечернего солнца повис на золотом кресте недалекой колокольни. Повисел-повисел да и погас.

«Что ж это такое? — думала она о театре. — Неужто так привлекает народ, что остается человек приверженный к нему до самой старости... Чудеса!»

Потом ей стало скучно, пожалела, что не пошла с дедушкой Акимычем поглядеть на комедию. Название какое понятное — «Ябеда»... Опять вспомнила куплетец. Пропела его.

Потом подумала: все же хорошо, что не пошла комедию глядеть! А ну как наткнулась бы ненароком на этого самого ирода — Федьку? Ведь говорил, что каждый день приносит актерам сбитень. Еще станет думать, будто она, Санька, за ним по пятам ходит.



А откуда-то издалека сюда, в каморку, доносилась музыка, слышались голоса, смех... И опять Саньке казалось, словно буйный ветер тербит и раскачивает в лесу сосны и гул от этого ветра разносится по всему белому свету.

С тем буйным ветром в голове да в мыслях и уснула. Не раздеваясь, прикорнула прямо на скамейке. Лишь скинула с ног сапожки на неудобном каблучке...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### О ТОМ, КАК САНЬКА ЛЬЕТ СЛЕЗЫ И НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ЕЙ ДЕЛАТЬ

Дня три Санька была сама не своя. То плакала, то улыбалась. То сидела сложа руки, а то хваталась за веник и давай мести пол. Или еще что-нибудь делала. Иногда горевала, то вновь чему-то радовалась. И тогда ее блестящие глаза смеялись, а на щеках играли веселые ямочки.

Степан Акимыч, незаметно поглядывая на Саньку, понимал, что творится с девчонкой, но виду не подавал. А все развлекал ее, рассказывая всяческие истории. Историй же он знал множество, одну затейливее другой. И Санька, слушая их, недоумевала: как же они все у него в голове помещаются и не перепутаются?

Уходя же к вечеру в суфлерскую будку, всякий раз звал Саньку с собой: «Может, посмотришь, сударушка, на Силу Николаевича Сандунова? Он в мольеровской комедии плута Скапена играет. Отменный актер!»

Но Санька неизменно отказывалась. Сидела впотьмах одна-одинешенька, думала свою невеселую думу: как быть ей дальше? Нет, домой она все равно не пойдет, но здесь надолго ли ей можно остаться?

За эти дни Степан Акимыч частенько восклицал одни и те же слова: «Все не идет да не идет! Ах, право слово, какая же!..»

И Санька понимала, что ждет не дождется он внуку. Но почему он так ее ждет? Просто так или из-за нее, из-за Саньки? Об этом допытываться вроде бы ей не пристало. Ей же важно было одно: знает ли Анята, что она теперь здесь, у дедушки, и как будет о сем предмете судить? И потому тоже ждала ее с нетерпением.

Поутру на четвертый день дверь в каморку — нараспашку, и наконец влетела Анюточка. Совсем не удивилась, увидав здесь Саньку. Только покосилась на нее да, может, чуть попристальнее задержала свой взгляд на ее лице. И Санька тут же поняла, что дедушка Акимыч успел побывать у внучки и уведомил ее, что живет-де у него теперь приبلудная девчонка. Но как об этом думает Анюточка, это пока было непонятно. Непонятно было и как к этому отнесется...

Анюточка же прямо с порога давай говорить, обращаясь все больше к своему дедушке, лишь изредка бросая мимолетные взгляды на Саньку:

— Бонжур, бонжур, бонжур! Я к вам, гран пер, с новостью...

И пошла лопотать, сыпать горошком. А что говорила — не разберешь! Иные слова будто и знакомые, да все равно выговаривает на чужеземный манер: и гнусавит, и картавит, и в нос тянет. Видно, хочет, чтобы она, Санька, ничего не понимала, а поскорее убралась бы восвояси.

Радуюсь приходу внучки и любуюсь ею, Степан Акимыч прикинулся сердитым.

— Ты бы потише, душа моя, говорила. За твоим язычком разве уgonишься? Ну, чего ты сейчас объясняла, чего?

— Ах, дедушка,— засмеялась Анюта,— совсем ты, дедушка, без понятия! Вот Санечка — та все уразумела.

— Нет, и мне без понятия,— сказала Санька, а сама обрадовалась. Подумала: «Нет, не прогонят они меня, не захотят, чтобы стала бездомной».

И вдруг всю картавость, всю чужеземность с Анюты как рукой сняло. Стала говорить складно и ладно:

— А то я вам рассказываю, дедушка, что послала меня мамзель Луиза в модную лавку к мадам Шальме. А свою лавку мадам Шальме держит на Кузнецком мосту, запомнила, ма шер? — Это Анюточка уже Саньке объяснила.

— Запомнила,— с веселостью отозвалась Санька, теперь уже твердо зная, что никуда ее гнать не станут. И прибавила: — Только где тот Кузнецкий мост, о том не ведаю...

— А зачем тебе о том ведать? — удивилась Анюточка. — И незачем! Коли надобно будет, люди покажут...

Снова у Саньки упало сердце: раз незачем, стало быть, и убирайся подобру-поздорову...

— Ну, а дальше чего, ангельчик мой?

— А дальше — вот чего! Мамзель Луиза мне приказали: сна-

чала к дедушке сходи, потом к мадам Шальме, а там уж скорым шагом домой... А я надумала — сделаю все по-своему, понимаешь, дедушка? Перво-наперво сбегая в модную лавку, а уж потом и сюда заверну.

— Зачем же ты все навыворот сделала? — посмеиваясь, спросил Степан Акимыч, сам глаз не сводя с лукавого лица внучки. — А коли барышня проводят?

— Как же ей проведать? Я-то не скажу... — пожала плечиком Анюта. — А придумала я так затем, что захотелось показать Санечке, чего я от мадам Шальме несу. Ведь она такого еще никогда не видела.

Тут Анюточка открыла крышку круглой коробки, которую с собой принесла, и начала оттуда вытаскивать одно за другим. Увидев наряды, Санька окончательно воспрянула духом.

— Нет, ты только глянь, Санечка, какая косынка! Эфемер, воздух... А цветики на голову... Видишь, в иных камушки блестят, наподобие росинок! Теперь самая мода такие веночки на голове носить... Прическа а ля грек — и веночек! Давай на тебя примерю. Дедушка, ты только взгляни, какая у нас Санечка красавица! Ах, Санечка, Санечка, зеркала нет, не можешь ты сама на себя полюбоваться...

— Анюточка, — вдруг забеспокоился Степан Акимыч, — а деньги-то твоя барышня прислала? За переписку-то?

— Ну что там деньги! Деньги она потом отдаст. Знаешь, сколько мы в модную лавку задолжали? А за карету? А лавочнику? Страсть! Как отдавать-то будем, ума не приложу... А роль ты, дедушка, очень хорошо переписал. Ни одной ошибки, хоть на французском не больно маракуешь. Мамзель Луиза весьма хвалила.

Степан Акимыч заметно погрустнел. Санька поняла: дедушке Акимычу деньги нужны позарез. Надо быть, и он в трактир задолжал, да разве только в трактир?.. У Саньки заскребло на сердце: и она села дедушке на шею, и на нее дедушкины гроши идут. Как исхитриться, где раздобыть? Может, на базар сбегать? Подкараулить, чтобы батюшку без мачехи застать? Он-то даст, не откажет...

Анюточка же продолжала щебетать дальше:

— А на шляпку, на шляпку-то погляди... Прямо из Парижа! Теперь на такие мода — чтобы банты торчали и чтобы перышки от заморских птиц...

— Отколь шляпка-то? — переспросила Санька.

А Степан Акимыч вдруг нахмурился.

— Не одобряю. Узурпатор Наполеон нам войной грозит, а шляпки получаем из Парижа. Куда это годится...

— Так ведь и мамзель Луиза из Парижа! И мадам Шальме, и эта из Парижа, и...

— И это не одобряю! Гнать всех французов надобно. Гнать из Москвы, гнать, гнать... Шпионы они Бонапартовы, вот кто... — вдруг разгневался, раскипятился, распалился Степан Акимыч.

Анюточке и тут смех. Сквозь смех и принялась донимать дедушку:

— И актерку Жорж тоже гнать из Москвы, как она к нам из Петербурга пожелает? А танцовщика Дюпора? Нынче небось пойдешь на него смотреть? А он откуда, Дюпор? Из Парижа ведь...

— Ты совсем без понятия, Анюта,— строго сказал Степан Акимыч.— Никакого священного огня в груди. Сравняла: торговку Шальме с великими актерами! Ай-яй-яй... Да как же можно?

— Ладно, дедушка, не гневись. Не буду более про шляпки.— И Анюта с осторожностью, еле касаясь пальчиками дорогих вещей, стала укладывать их обратно в круглый короб. Вдруг и у нее лицо погрузнело, и сразу она стала похожа на своего дедушку: — А деньги... Ты не думай, дедушка, она тебе их все отдаст... Вот только когда?

Уходя, Анюта посмотрела на Саньку. Чуть-чуть сморщила тоненький нос:

— А ты как же, Саня? Так отсюда ни шагу?

Санька вся похолодела. Поняла: гонит! Ответила тихо, теребя пальцами перекинутую на грудь косу:

— Не знаю... Ведь и податься некуда.

И вдруг Анюточка вспыхнула, вся краской залилась. Кинула на пол короб с дорогими нарядами, а сама — на шею Саньке:

— Да Санечка, да голубушка, да разве я о том? О господи, что она надумала... Да глупая ты, Санечка! Я же рада, что ты теперь с дедушкой... И дедушка не нарадуется, что ты теперь с ним. Теперь он не один. Давеча он прибежал ко мне... А ты думала, будто я не знала, что ты здесь живешь? Все, все знала! И мамзель Луиза уже знает. И Фекла... Ах, Санечка, да как же ты могла такое подумать?..

И Анюточка расплакалась горькими слезами. И Санька с ней

заодно залилась плачем. И Степан Акимыч, на них глядя, вытащил из кармана преогромнейший носовой платок и стал в него сморкаться.

Но плакали они все трое недолго. На долгие слезы ни времени сейчас, ни причин не было. Миг — и слез как не бывало! Анюточка засмеялась. Засмеялась и Санька. И Степан Акимыч сунул свой клетчатый платок в кармашек.

— Я же вот о чем!.. — вскричала Анюточка и объяснила, что нынче в балете «Зефир и Флора» будет танцевать Дюпор. — Ты обязательно должна поглядеть на сего танцовщика, Санечка! И нечего тебе зря сидеть вот тут. Ну чего ты боишься выходить отсюда? Чего? Мне как дедушка рассказал, что ты весь вечер одна в потемках сидишь, я и придумала: нет, нельзя так! И пойдешь ты, Санечка, нынче глядеть на Дюпора... Уж раз я сказала, так оно и будет... Запомнил, дедушка?

Но Санька в ответ помотала головой:

— Никуда я не пойду. Не до смотрения мне.

— Вот ведь какая! — воскликнула Анюточка. — Почему это тебе не до смотрения?

— А потому, что не привыкла задаром хлеб есть. Работу надобно сперва найти.

Анюта заплескала белыми ручками:

— Вот пустяки какие! Работа... У моей мамзель Луизы подружка есть, Розиной звать. Премиленькая актерка. Дедушка, знаешь мамзель Розину? — Анюта произнесла в нос какую-то непонятную французскую фамилию.

— А как же! Весьма недурно поет в водевилях. А уж романс «Когда в темной башне я милого жду»... — И Степан Акимыч, поцеловав пальцы, собранные в щепотку, начал петь то-неньким приятным голоском.

Но Анюта рассердилась:

— Ах, дедушка, всегда ты так! Всегда запоешь не ко времени... Я ведь о деле толкую! — И, обратившись к Сане, спросила: — В служанки хочешь, Санечка? Сия мамзель Розина свою прогнала, другую ищет. Хочешь?

Санька обрадовалась: неужто нет? Конечно, хочет! Да только возьмут ли ее в служанки? Небось умение надобно, чтобы служанкой быть?

— Вот еще — умение... — Анюта засмеялась и, подхватив короб с нарядами из модной лавки Шальме, выпорхнула за дверь.

— Видишь, какая она... — проговорил Степан Акимыч и

снова полез в карман за носовым платком, чтобы смахнуть слезы умиления.

— А балет — это чего? — спросила Санька.

Степан Акимыч объяснил. Санька помолчала, подумала, хмыкнув, спросила:

— Танцуют... гм! А хороводы водят?

— Бывают и хороводы. Однако же дело не в том. Балет...

Санька перебила Степана Акимыча:

— Хороводы — это я люблю! На праздниках у нас всегда хороводы... Соберемся на лугу за околицей, сперва песни поем, а там и хороводы начнем свивать.

Но знаменитый балет Дидло «Зефир и Флора», в котором танцевал Дюпор, кумир тогдашней театральной публики Петербурга и Москвы, в этот вечер Санька смотреть так и не пошла.

Нет, не до балета ей было. Какой там балет, когда впереди потемки, ни зги не видно... Вот коли начнет работать служанкой или еще кем, тогда дело иное.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

### В КОТОРОЙ САНЬКА НАНЯЛАСЬ В УСЛУЖЕНИЕ К ФРАНЦУЗСКОЙ АКТЕРКЕ МАМЗЕЛЬ РОЗИНЕ

Анюта все устроила. Не прошло и двух дней, как она влетела в каморку своего дедушки и, по своей привычке, уже с порога пошла сыпать горошком:

— Санечка, душечка моя! Уж не знаю... может, ты и раздумала? Моя мамзель Луиза говорила с мамзель Розиной... Только ты не думай, что мы с дедушкой тебя гоним. Живи, пока живется. Правда, дедушка?

Степан Акимыч закивал:

— Живи, сударушка, живи. Знаешь ведь, радехонек тебе. А может, и правда передумаешь, не пойдешь в услужение?

Но Санька не захотела передумывать: нет, уж коли решила, пусть так оно и будет! А работа ей не внове, с малых лет приучена.

— Ишь как у меня складно да ладно, — продолжал уговаривать ее Степан Акимыч. — И бельишко мое в чистоте, и в каморке порядок. Ведь Анюточке... прости, мой ангельчик, опять обмолвился — никак не может мой язык сие чужеземное имя выговорить... Ведь ей все недосуг.

Санька и сама знала, что жизнь у дедушки стала поурядливее с той поры, как она поселилась у него. Но знала она и другое: дедушка без гроша сидит — и так крутится, и эдак крутится. Себя-то ему трудно прокормить, а тут еще и она... Надо и совесть иметь, нельзя на чужом горбу ездить...

— А вы, дедушка, не сомневайтесь, приходить буду, помогать стану... До самой смерти не забуду доброты вашей! — И Санька низко-низко, в пояс, поклонилась Степану Акимычу.

В тот же день Анюта повела ее наниматься в услужение к французской актерке мамзель Розине. Довела ее до того самого флигелечка, в котором жила актерка, научила, в какую дверь стучать и чего говорить, и простилась, напоследок помахав ручкой.

Санька проводила ее глазами, вздохнула: славно быть такой пташкой — с ветки на ветку перепархивать, щебетать, веселиться и ни о чем не думать... Что поделаешь, не у всех такой нрав. Она, Санька, так не может.

Она постояла возле крыльца, собираясь с духом. Ох, и боязно! Сердце то бухает в груди, а то вдруг замирает... Может, повернуть обратно? Дедушка Акимыч не прогонит, обрадуется: «Сударушка, ты ли?»

Однако превозмогла себя, не ушла. Огляделась. Домишко так себе, неказистый на вид: четыре оконца да светелка под крышей. И ответшальный весь, и облез весь, и покосился...

Наконец решившись, Санька вошла в калитку и легонько стукнула в ту боковую дверь, на которую ей указала Анюта.

Услыхала в ответ:

— Входи, коли пришла...

Споткнувшись о пустое ведро, вошла в темные сени, потом шагнула в полуотворенную дверь и тотчас увидела бабу — здоровенную и краснощекую, поперек себя шире.

Баба спросила басовитым голосом:

— Отколь явилася?

Санька ответила.

Баба, с пристрастием оглядев ее с ног до головы, промолвила:

— Ишь ты, пригожая...

Помолчав, спросила:

— Не беглая?

— Батюшка вольный, от себя огороды держит.

Баба опять помолчала. Потом давай дальше пытаться:

— Дома-то почему не живетесь?

— Мачеха, потому и не живетя,— с неохотой объяснила Санька.

Толстуха обтерла руки о подол сарафана, поправила на голове повойник и сказала:

— Ладно, пойду доложу моей-то... Поди, уже проснулась.

Санька удивилась: как же не проснуться-то? Время ведь за полдень. Неужто до сей поры спит?

Через минуту толстуха воротилась. Сказала басом:

— Евдокией меня зови. Кухарка у мамзели. Иди, ждет...

Следом за Евдокией Санька прошла в комнаты. Озиралась по пути, туда-сюда вертела головой: ничего себе, богато живет мамзель! И зеркало большое на стене, и всякие картины повешаны. А стульчики крыты голубым атласом. Загляденье, на такие и сесть боязно.

В спальней комнате возле незастеленной кровати — видно, только-только пробудилась — в низком креслице сидела мамзель Розина. Заспанная, неприбранная, в розовом капоте, весьма грязном на вид, в кружевном чепце с розовыми бантами.

Увидев Саньку, залопотала что-то непонятное. Потом, коверкая русские слова, спросила, как звать ее.

Санька назвалась.

— Санья? — чуть нараспев переспросила она. — Очень хороший имя! — И еще несколько раз повторила, будто затверживая: — Санья, Санья, Санья...

«Господи! — подумала Санька. — Сроду никто меня так не величал! Санья... Что тут хорошего?»

— Как будем, Евдокия? — советуясь с кухаркой, спросила ее будущая хозяйка.

— Да ничего девка. Пригожая больно.

— Как? Comment?

— Говорю, красивая. По-вашему — шарман, что ли?

Мамзель Розина кивнула и улыбнулась Саньке.

— Но сие еще не страшно ведь?

— Ну, коли работать будет...

Тут Санька поняла, что ежели желает здесь остаться, должна постоять за себя. А ей не то чтобы хотелось остаться, но надо же. И мамзель вроде бы ничего себе. Чуть прищуривая глаза и улыбаясь, отчего на щеках ее заиграли ямочки, сказала:

— Я работать могу. Все, чего надо, сделаю. И полы вымою, и дров нарублю, постирать — постираю... Все могу! Не лыком шита, не жантильная...



— Чего? Чего? — не поняла француженка. — Comment?

— Да толкует: мол, могу хорошо работать, — объяснила Евдокия.

— Тогда так, — промолвила мамзель Розина. — Тогда пусть...

И Санька поняла, что мамзель Розина взяла ее к себе в услужение.

Когда они вернулись на кухню, кухарка спросила:

— Небось есть хочешь?

Санька была голодна и не стала отнекиваться. А когда наелась досыта, Евдокия велела ей приниматься за дела: перво-наперво натаскать из колодца побольше воды.

Не успела наносить полную кадку, как послышался голос господи:

— Санька, кофей... быстро, быстро!

И пошло, и пошло с раннего утра до поздней ночи: «Санька, притащи воды... Санька, наруби дров... Санька, Санька, где мой башмаки? Санька, в лавку беги! Будь мой куафер, Санька...»

У Евдокии стала девчонкой на побегушках, у барыни — нечто вроде камеристки, иными словами — комнатной служанки.

Но это бы ничего. На это Санька не роптала. Работать привыкла, была понятлива, проворна, ловка. Другое было не под силу.

В прежнем ее доме — теперь тот дом она уже перестала считать своим родным домом, вроде бы отрезана навсегда, — там поднимались с первыми петухами. Зимой — затемно, летом — на заре. Зато и ложились ранехонько: куры на нашест и они на боковую.

А здесь, здесь-то...

Ее новая хозяйка просыпалась далеко за полдень, и вся Санькина беготня начиналась ближе к вечеру, когда та отправлялась в театр — то в комедии, то еще чего-нибудь представлять. А коли не в театр, так ехала к именитым людям по гостиним романсы петь. А то и вовсе танцевать на балу до утра. Все равно куда, однако же беспрерывно каждый вечер куда-нибудь да уезжала.

У Саньки же под вечер работа всегда одна и та же. Сперва воды принести и помочь мамзели дочиста умыться. Потом наряд приготовить, какой прикажут. Потом раздеть барыню. Потом одеть барыню да сперва крепко-накрепко затянуть на ней шнуровку корсажа. Опять же причесать надобно, чтобы локоны а ля грек висели. А причесывать Санька быстро научилась, даже мамзель Розина прежнего куафера прогнала. Вот как!

И наконец, когда все готово, надобно еще за наемной каретой сбежать, если ко времени не подана. А бывала карета ко времени не подана, если мамзель Розина денег извозчику Ермолаю долго не давала. И тут у Саньки работа — Ермолая упрашивать: да отдаст мамзель деньги, ведь это в театре не платят, а как заплатят, все сполна отдаст. А карету подать беспрерывно надобно — на улицах лужи, мамзель Розине никак нельзя в атласных туфельках по лужам в театр идти.

Беготни, вертовни часа на три, а то и поболее того. Ног под собой не чуя, носилась Санька по комнатам. Но вот лошади по мостовой — цок-цок-цок... Слава те господи, укатила госпожа!

Теперь хорошо бы присесть, вздохнуть, очухаться. Не тут-то было! Евдокия начинает командовать: Санька, унеси! Санька, принеси! Санька, подай! Санька, прими... И пошло звенеть Санькино имя — таким же порядком, как в прежнем доме, — по всем углам и закоулочкам.

Наконец и у Евдокии день на исходе. Зевнет во весь рот, потянется так, что всеми косточками хрустнет, сладко перекрестится и завалится спать до утра. Тут скорее и Саньке на дерюжку, посланную для нее в теплых сених под лесенкою. И спать, спать, спать...

Но и первого сна не успевает досмотреть, как под окнами снова: цок-цок-цок... — мамзель Розина домой воротилась. Из театра ли, с бала али из гостей — для Саньки всё одно. Полусонная бежит отворять дверь. А там снова: и раздень, и волосы на ночь убери, и в постель уложи, и все, что по полу да по креслам раскидано, прибери, и еще по пути много всяких разных дел наберется.

Только приляжет на свою дерюжку, только провалится в сон, Евдокия за плечо тормозит:

— Поднимайся, девка. Вода в кадке на исходе. Да кое-чего в лавке надобно взять, барыня приказали. Живее, поторапливайся!

О господи, никак, утро? Неужто ночь минула?

— Сейчас, сейчас, Евдокиюшка... Дай очухаться... Хоть бы еще поспать, самую малость!

Первое время весь день ходила Саня в каком-то тумане, будто очумелая. Чуть ли не на ходу дремала. Перед глазами мутные круги плавали. До чего дело дошло: пошли с Евдокией к ранней обедне — уснула, стоя на коленях. Рассказать кому — совесть не позволит.

Похудела, побледнела, смуглый румянец напрочь слинял со щек. Как-то с превеликим трудом вырвалась навестить дедушку Акимыча, там, кстати, и Анютка сидела. Так оба вместе, в один голос заохали:

— Ох, сударушка...

— Ой, Санечка...

Вернувшись домой, Санька кинулась в зеркало смотреться. Глянула на себя, поморщилась. Ну и ну!.. Только глазищи с кулак да брови взлет, а более ничего на лице не осталось. До того отошала, что вот-вот и переломится пополам.

Эх, девка, девка, жизнь-то у тебя незавидная, что и говорить! А что делать? Не идти же обратно в дом, где мачеха Степанида. Та и вовсе со света сживет.

А иной раз к вечеру, следом за хозяйкой, и Евдокия отлучалась из дому. То пойдет куму проведать, то кума Андрона навестить.

И наступали для Сани сладкие часы.

Покой во всем доме. Никто тебя не требует, никто тебя не тормошит, никому ты не надобна.

Тишина. Слышно, как осенние мухи по стеклам елозят и жужжат.

Что хочешь, то и делай! Хочешь спать? Спи, сколько спится, до самого до прихода Евдокии.

А неохота спать, можно иным делом заняться. Можно достать из комода самую распрекрасную шаль мамзель Розины, ту, что с турецким узором, накинуть на плечи и по комнатам пройтись. Можно надеть шляпку с пером заморской птицы и перед зеркалом мамзель Розиной прикинуться. И не на французском, а на самом своем русском языке комедию представить. Будто она, Санька, уже не Санька, а сама мамзель Розина. И будто эта самая мамзель Розина со своей прислужницей Санькой разные злые разговоры ведет.

— Кофею, лафиту, бламанже, турлюлю мигом подай! — кричит она Саньке, в креслице развалясь.

Санька же ей в ответ:

— А вот и не стану подавать кофею, бламанже, лафиту, турлюлю...

Барыня, мамзель Розина, с креслица прыг и Саньке кулаком грозит:

— Не станешь? Тогда пожалуюсь на тебя нашему Бонапарту французскому...

А Санька тоже не промах. Крикнет:

— Жалуйтесь! Не боюсь вашего Бонапарту французского! Я пожалуюсь нашему царю русскому, он покажет вашему Бонапарту французскому...

Тут мамзель Розина ножками затопает, ручками замашет, а Санька ей в ответ песенку споет, да с приплясом...

Потом то ли от кумы, то ли от кума воротится Евдокия. И пойдет рассказывать, что видела, что слышала. Зажгут сальную свечку, сядут одна против другой. Евдокия рассказывает — Санька слушает.

— Ох, девка, вот бал так бал!

— У кого? — спросит Санька.

— Да у господ Высоцких. Мой кум Андрон у них крепостной мужик, из деревни привезенный, дворником поставлен. Хозяйка именинница. Вся Басманная улица до Мясницких ворот экипажами запряжена. И всё цуги, цуги, цуги... Самая знать съехалась именинницу поздравить. Ужин кувертов на двести...

— Чего? Чего? Чего? Что это за куверты еще?

Но Евдокия объяснять не стала. Дальше рассказывает:

— Господа плясать будут, сказывал кум Андрон, до самого до утра, и потому кучерам, чтобы не голодно было, вынесли по калачу да по стакану пенника. А вчера у госпожи Небольсиной на Поварской тоже бал устраивали. А завтра, говорит, у графа Голицына опять же бал готовят. Говорит кум Андрон: всё веселятся да веселятся господа, не к беде ли?

Санька крестится: о господи, спаси-помилуй! Неужто засуха ждет? Али мор на скотину падет? А вдруг опять от чумы начнет народ помирать...

А Евдокия ей шепотом: мол, кум Андрон от горничной Аксиньи слыхал, будто наш царь с французским царем не поладили. Старая барыня перед сном, когда молитвы творит, все приговаривает: не приведи бог войну, не приведи бог войну...

А один раз, вернувшись от кума, Евдокия про мадам Шальме принялась рассказывать.

— Эта которая на Кузнецком мосту лавку с нарядами держит? — спросила Санька, радуясь тому, что хоть что-нибудь да может сказать.

— Эта, эта! Кум сказывал, она и есть главная Бонапартова шпионка. Через нее и война может случиться. Наши барыни да

барышни всё ах да ах, ох да ох, а мадам Шальме все у них, бестия, выпрашивает, выпытывает да своему Бонапарту в тайных депешах доносит...

\* \* \*

Так летели дни за днями, а сколько их пролетело, Санька не считала. Не до счету было ей: дни работала, ночи недосыпала. Мамзель Розина все чаще и чаще на нее покрикивала, а Евдокия всё новые да новые дела на нее валила.

И осень пришла. Вдруг, сразу — неожиданная и негаданная. Дожди начались. К колодцу не подойти — огромная возле разлилась лужа. Мученье за водой ходить. А Евдокия только знай покрикивает:

— Санька, воды нет... Санька, неси, говорят!

— Как же нет, тетенька Евдокия? Ведь только-только шесть ведер принесла...

— Еще мне будет перечить! Неси, раз велю.

Эх, Санька, Санька, не воротиться ли тебе домой к бабушке?

К бабушке бы и воротилась, а к мачехе? Вовек не забыть, как сказала: «Ничего, жрать захочет — на пузе приползет...»

В один из холодных осенних дней, когда дождь хлестал, как из ведра лил, выскочила Санька за водой. Только выскочила на крыльцо, носом к носу столкнулась с бабушкой Акимычем. Весь мокрехонький подымался он по ступенькам.

Санька глазам не поверила.

— Дедушка, вы ли?

— Я, сударушка, собственной персоной.

— Не случилось ли чего?

— Случилось, как не случиться.

— Да сказывайте, дедушка, не томите. Анюта здорова ли?

— Здоровехонька. В сени, что ли, пойдем, не под дождем нам вести беседу.

— Пойдемте, пойдемте в сени,— потянула Санька Акимыча за рукав.

И узнала Санька для себя счастливую новость: нынче утром ходил Степан Акимыч к управляющему Арбатским театром, к самому Аполлону Александровичу Майкову. И соблаговолили их превосходительство господин Майков допустить Саньку работать при театре, в актерских комнатах полы мыть.

— И положил он тебе, сударушка, за сию работу не много не мало, а ровно три рублика в месяц. Так что, коли не против, ска-

жи своей хозяйке адью и перебирайся назад в мою каморку. Конечно, коли желаешь, сударушка.

Да как же не желать-то! Санька от радости заорала во все сени:

— Желаю, желаю, дедушка! Хоть сей минутой пойду...

Когда доложила о том мамзель Розине, та принялась уговаривать, упрашивать Саньку остаться. Сулилась тоже три рубля в месяц давать. А Евдокия, та даже слезу пустила, запричитала: «На кого ты меня, горемычную, покидаешь?»

Однако ничего не помогло — ни слезы, ни уговоры. В тот же час Санька собралась, — а сборы какие, собирать-то нечего! — и вместе со Степаном Акимычем зашагала на Арбатскую площадь, сверх меры радуясь перемене своей судьбы.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### О ТОМ, ЧТО НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК

Будто никогда и не уходила она отсюда. Будто всю жизнь, с самого малолетства прожила здесь. Будто вернулась обратно в отчий дом. Рада и счастлива была Санька, когда вошла в здание театра и переступила порог комнатушки Степана Акимыча. А тот, хлопотливо суетясь вокруг нее, все рассказывал да рассказывал:

— А кто надумал сие твое возвращение в храм Мельпомены, сударушка? Нет, ты пошевели-ка мозгами, сообрази получше! В тот день, как ты ушла от нас, мой добрый ангельчик слезами залился, ручками заплескал да молвил: «Ох, дедушка, слыханное ли дело — ни сна, ни отдыха... Ведь от такой жизни Санечке и помереть недолго». А я ей: «Можно и помереть, твоя правда, Анюточка!» А она мне: «Дедушка, сходи к их превосходительству, к Аполлону Александровичу...» А я в тот же миг уразумел все ее добрые мечтания, да только господин Майков был вызван в Санкт-Петербург графом Нарышкиным. Знаешь, кто такой граф Александр Львович Нарышкин? Не знаешь. Граф Нарышкин весьма важная персона — обер-гофмаршал, главный директор всех российских театров, вот кто он! А нынче утречком, когда господин Майков, изволив прибыть в Москву, явился в театр, решился я сходить к нему за своим делом. И страху же натерпелся! Но все же пошел... Он же, выслушав мою просьбу,

весьма снисходительно молвил: «Ладно, Акимыч, за твою верную театру службу разрешаю твоей внучке каждый день в актерских комнатах полы мыть. Положу ей жалованье три рубля в месяц, и пусть при тебе живет». Уж я и не знал, как выразить ему благодарность — кланялся, кланялся, кланялся... И вот ты здесь, сударушка! Завтра с самого утра возьмешься за работу, а сейчас маленько отдохни.

— Да разве я устала, дедушка? Я и сейчас могу...

— А сейчас уже поздно за дела браться. Нынче я сведу тебя балет смотреть. Пойдешь?

— Пойду. Теперь-то пойду...

— И вот ведь какая оказия, Санечка: опять все тот же балет — «Зефир и Флора». И опять танцует знаменитейший Дюпор...

Оба подивились такому счастливому совпадению.

Нельзя сказать, чтобы Саньку восхитило то зрелище, на которое она смотрела, стоя в уголке за боковой кулисой. Сюда ее привел дедушка Акимыч, тут поставил и велел никуда не уходить.

Она мало что поняла. Скорее была ошарашена, ошеломлена и растеряна всем, что увидела. А если попросту сказать — она одурела от музыки, которая звучала рядом и потому казалась ей слишком громкой; одурела от пляшущих перед ее глазами танцоров в нарядных пестрых костюмах, от сладкого запаха грима, от яркого света рампы, назойливо слепящего ей глаза. Голову кружило и от того, что видела на сцене, и от тех звуков, которые доносились из зрительного зала — шороха вееров, бряцания шпор военных, говора, смеха и бурных аплодисментов, сопровождавших каждый балетный трюк знаменитого Дюпора. И еще: ей казались чудом все холсты, поставленные вокруг помоста. Посмотришь близко — одна мазня, чуть отдались — и вырастают перед глазами зеленые кусты, осыпанные цветами, видятся дворцы, деревья, горы, а далее небеса и облака...

Ошалелой вернулась Саня в каморку после окончания балета. А Степан Акимыч, который во время спектакля стоял с ней рядом и не переставая расточал похвалы и тому и сему, теперь не мог добиться от нее ни слова.

— Хорош Дюпор, властитель дум и сердец наших дам? А пируэты каковы? А воздушные скачки? То-то же! А у госпожи Колосовой мимика, мимика какова! И глазками, и ручками всю глубину душевных чувств умеет показать... Она у нас первейшая из

танцовщиц теперь. Чего молчишь, сударушка? Али не по вкусу пришелся нынешний балет? Нет, ты скажи, ответствуй...

Но Санька свела брови, хмурилась и молчала. И полслова не молвила в ответ. Степан Акимыч был совсем обескуражен. Не знал, что и думать. Огорченный, уснул на своей лежанке. И Санька молчком улеглась на скамейку.

Но уснуть не могла. Ворочалась с боку на бок. Голова у нее горела, а перед глазами мелькало все давешнее. Знаменитый танцовщик в три прыжка перелетал помост с одного конца на другой. Танцовка, госпожа Колосова, вертелась, вздевая руки вверх. А вместе они уж такие прыжки вершили, что и словами не расскажешь! Другие же плясуньи и плясуны, те кружились и так и эдак, то сбегаясь, то разбегаясь, и направо, и налево... Да, это тебе не хороводы водить на лугу за околицей!

Промучившись бессонницей до утра, Санька перекатывалась с одного бока на другой. Вдыхала. Закрывала глаза, открывала глаза. А все равно проклятые плясуны и плясуньи не оставляли ее в покое. Так и мелькали, так и мелькали... Фу, дьявол их возьми!

От того ли сладкого, душного запаха, которого она нанюхалась за кулисами, от яркости ли огней ramпы, от аплодисментов и восторженных выкриков, какие неслись из зала, а может, от всего разом, но только с того вечера и пристрастилась она к театру. Пристрастилась до умопомрачения. Конечно, не сразу, не вдруг. Но, взяв в свой плен, муза Мельпомена уже не отпустила ее до конца жизни...

Утром дедушка Акимыч привел ее к какому-то человеку, важному, неторопливому, с седыми висячими бакенбардами. Тот и показал Саньке, где и что надобно делать.

И Санька взялась за работу. Уж она и скребла, и мыла, и терла... Воды притащила несчитанное количество ведер. Что и говорить — на совесть работала. А где работала? Не где-нибудь, а в храме Мельпомены! Шибко устала в тот день — ноги ломило, руки ныли, поясницу не разогнуть.

Однако же к вечеру спросила дедушку Акимыча: а не возьмет ли он ее с собой и нынче поглядеть представление?

Тот обрадовался:

— А я, Санечка, подумал было...

Но Санька его перебила. Стала выспрашивать о том, что видела вчера, да не поняла. А кто таков Зефир? А Флора не богиня ли? Да как же так получается: глядишь на холсты, какие



на помосте стоят, глядишь вблизи — одна мазня... Чуть отойдешь — тут тебе и деревья, и кусты, и ручьи текут! Как же получается?

Долго выпрашивала у Степана Акимыча. Выспрашивала до тошно, с пристрастием. Но и слушала прилежно. А на лбу от внимания вспухла тонкая морщинка.

Ну, а Степана Акимыча только разговоры, он до утра не остановится: без конца будет говорить о своем любимом театре. Объяснив все подробно и обстоятельно, он сказал:

— А нынче, сударушка, раз того пожелала, будешь смотреть Мольерову комедию «Скапеновы обманы». В главной роли увидишь нашего несравненного комика Силу Николаевича Сандунова. Вот талант так талант! Лучше, чем ему, никому не давалось так представить сего отъявленного плута Скапена. Весел, жив, игрив, рассыпается мелким бесом... Хохотать будешь до упаду! Как он старого скрягу Жеронта, упрятав в мешок, угощает палочными ударами! А голос-то, голос как меняет, уму непостижимо! То за себя, за Скапена говорит, то за разбойников, коих поблизости и духом не пахнет... погоди, сударушка, я тебе сейчас в наилучшем виде всю сцену представлю.

И Степан Акимыч, схватив в руки веник, давай лупить кресло, на котором только что сидел: якобы это был мешок, а в том мешке, спрятанный Скапеном, отсиживался злополучный скряга Жеронт.

За Скапена говорил одним голосом, не забывал стенать и за Жеронта.

Санька и правда хохотала до упаду...

Показав же из Мольера, Степан Акимыч стал и далее рассказывать про Силу Сандунова:

— Иной актерке — о господи боже мой! — суфлировать не поспеваешь... Что за буря! Рвет и мечет, так и бросает в лихорадку. А сойдет со сцены — дура дурой. Сила же Николаевич, этот не таков... Актер умный, находчивый, образованный. Каждой роли своей характер дает. С ним поговорить — истинное наслаждение для собственного разума! Но ведь находит и на умного человека изрядная дурость. Вот хоть бы такой случай... задумал он себя и в опере показать. А ведь насчет гласа и слуха бог обидел. Ни того, ни другого. Однако раз задумал — вынь да положь! Выбрал он для собственного бенефиса роль тюремщика из оперы «Рауль де Креки». Имеется такая старинная опера... И опера-то хорошая, и Сандунов — любимец публики, а поди ты,

какой конфуз получился. Народу собралось тьма. Едва Сандунов вышел — залп аплодисментов. Запел...

Тут Степан Акимыч затянул тоненьким фальцетом:

Лишь взойдет заря багряна,  
В гости к бочкам я хожу...

Весь театр лег от хохота — ни складу ни ладу! И слова перепутал, и ноты не те, и с оркестром полный разлад. А Сила Николаевич? Да нимало не смутившись, махнул оркестру, чтобы не играл, спел арию без музыки до конца, а потом, подойдя к рампе, как бы по секрету изволил сказать публике некий экспромт:

Пусть себе театр смеется,  
Что успел певца поддеть.  
Сандунов сам признается,  
Что плохой он мастер петь.

Что тут было, сударушка! Человеческими словами не передать... Многажды заставляли Силу Николаевича повторять сей экспромт.

И на этот раз Санька хохотала до упаду. Что и говорить, по душе ей пришелся веселый и смелый Сандунов. Это заглазно. А когда увидела его на сцене, все ладони отшибла, надорвала голос, до того кричала вместе с публикой: «Фора! Фора!»

И повадилась она бегать на спектакли каждый вечер. Да что там каждый вечер... Отработает свое, полы подмоет, где надо приберется да поскорее за ту боковую кулису, куда первый раз Степан Акимыч ее поставил. Если бывала свободна днем, и на репетициях сидела. До того ей было все интересно и завлекательно, что ни единого спектакля не пропустила.

И уже было ей не смешно, в кулак она не фыркала, не удивлялась, что люди взрослые и даже старые ведут себя не по-людски. Стала понимать, когда толстяк актер, бухнувшись на колени, просит, молит, руки вздевает вверх, а встать ему трудно, так оно и полагается, так оно и надобно роль играть, потому что в пьесе — в трагедии али в комедии — должен быть вот эдакий толстяк, хотя, по правде, таких не бывает и быть не может. И в жизни так не разговаривают, так не смеются, как на сцене, а смотреть на все завлекательно, сил нет...

Вскоре Санька так освоилась, что знала и на сцене, и в самом театре каждый уголок и каждый закоулок. Знала в лицо и каждого актера и актрису не только из русской труппы, но наперечет

всех французов. Кое с кем и здоровалась. И многие, приметив бойкую внучку суфлера Акимыча, тоже с ней здоровались, называли по имени.

А с плотниками, которые работали на сцене — меняли декорации, поднимали и спускали занавес, зажигали свет на рампе и в других местах, — с теми была и вовсе запросто, на равной ноге. Нередко сама им помогала: устраивала гром, дождь, ветер, для этого пересыпая в ящиках камни или песок. А то и покрикивала на них: «Вы что, оглохли?! Не слышите? Дедушка два раза из своей будки веревку дергал, сигнал на занавес подавал... Капитон, Иван, занавес спускайте, да живее!»

И не удивлялась теперь Санька, когда по нарисованному небу ползли нарисованные облака или сверху спускались боги, богини, а то и раззолоченный трон для какого-нибудь царя. Знала и про люк в полу сцены. И когда надо устроить актеру провал под землю, стоит лишь открыть крышку этого люка, как все и получится в наилучшем виде. И хоть удивление первых дней у нее сменилось знанием всех хитростей и уловок сцены, пристрастие к театру от этого ничуть не уменьшалось.

Как все это время существовали они с дедушкой Акимычем? Это разговор другой.

Хоть и дедушка Акимыч работал, не жалея своих стариковских сил, хоть и Санька трудилась на совесть, а частенько сидели они впроголодь. Не платила им дирекция положенных денег. Актеры, те получали более или менее исправно, а вот им, мелкому люду, не хватало. Особенно часто забывали про старого суфлера и про Саньку.

Но ведь жили же, не помирали...

Иной раз вспоминался Саньке прежний дом — чего-чего только не водилось в тамошних закромах, и в погребе, и в подполе, и в чуланах! Да сотню людей можно бы кормить досыта, и не один день. Бывало, непочатая бочка солонины стоит, а матушка-покойница тревогу бьет: «Скорей, скорей свинью резать, на исходе мясо... Чего есть будем?» Ну, а мачеха Степанида, та еще беспокойнее. Всем в рот глядит, чтобы лишнего не ели, чтобы закрома не пустели, чтобы чуланы не перестали ломиться от всяческих припасов...

А у них с дедушкой Акимычем — и смех и грех! — подымутся утром, хлебной корки нет. «Ну, — скажет он Саньке, — подавай, сударушка, стерляжью уху, да бараний бок с подливкой из шампиньонов, да бламанже из ананасов...» А Санька ему: «Сейчас,

сейчас, дедушка! Имеются у нас и щи с говяжьим завитком, каша с рублеными яйцами и мозгами. Вот объеденье!» — «Тащи, тащи, Санечка, и щи и кашу. На пустой желудок все сойдет!» Так они подшучивали над своим житьем-бытьем.

Но вот чудеса — откуда-то что-нибудь да являлось! То Анюточка притащит: «Санечка, дедушка, вот вам пироги с требухой... Фекла приказала снести. У нас опять суаре было, так гости не доели...» Или Акимычу за переписку роли должок вернут. А то и Саньку кто-нибудь попросит по какой-либо надобности сбежать, всё пятак дадут, а то и поболее отвалят. И Санька несла свою денежку в каморку.

А то вдруг дирекция вспомнит и заплатит им, что положено. Ну, и пойдет тогда пирование.

Но если бы кто ее спросил, променяла бы она теперешнюю свою жизнь на прежнюю, сытую, — плечами бы пожала: да ведь не хлебом единым жив человек!

Так минул октябрь, подходил ноябрь, не за горами был и декабрь. Недаром в народе говорится: «Году конец — зиме начало». А как начинать зиму, когда ничего нет — ни шубейки теплой, ни сапог теплых, ни платка теплого?

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### О ТОМ, КАК СНОВА ВСТРЕТИЛИСЬ САНЬКА И ФЕДОР

Зима, неуклонно приближаясь, тревожила Саньку чем дальше, тем больше. Иной раз думалось: найду-ка батюшку, попрошу, чтобы привез мой тулупчик, да сапоги валяные, да все иное, что оставила дома. Но, как говорится, ноги не шли в ту сторону, где могла бы увидеть отца. А ну как и мачеха с ним на торгах? Не забылась та встреча. И не забудется никогда. Мысленно видела, каким злорадством загорятся у Степаниды глаза, когда она, Санька, придет к отцу. Скажет: «Приползла все-таки...»

Нет, нет, не станет она унижаться!

Так все тянула, тянула и дотянула до белых мух. Как-то утром глянула в оконце, а за стеклом медленно-медленно, будто не желая расставаться с небом, летели на землю крупные мохнатые снежинки. Летели и кружились, летели и кружились... А покружившись, вроде бы нехотя садились куда вздумается — и на крыши домов, и на мостовую, и на золотые маковки церквей.

Начиналась зима. Да ведь и самое время — пришел декабрь.

В тот день Санька все-таки решила найти отца. Выйдя на улицу, поежилась: студено, знобко... Снежок перестал падать, заголубело небо, и мороз схватил лужи на мостовой. Лежали между затвердевшими колеями гладкие, еще не тронутые колесами льдинки. Они ясно поблескивали на солнце.

Подумала: Федора бы где-нибудь по пути не встретить... Не хотелось, чтобы увидел он ее сейчас замерзшую, посиневшую да в летнем сарафане. Хорошо хоть, накануне Анюта принесла ей теплый платок. Закутавшись в него, побежала вдоль Арбата в сторону Смоленского рынка. Знала, что отец частенько приезжал туда с товаром. Может, и сегодня там. Издали поглядит: ежели один — подойдет к нему, попросит тулупчик. Ну, а коли мачеха при нем — не судьба, тогда поворачивай, Саня, оглобли назад, нечего тебе на сей раз делать...

А Федора она многожды видела за кулисами театра. Знала все его привычки: и в какое время являлся со своими баклагами, и где продает актерам сбитень.

Помнится, как первый раз вдруг услышала знакомый голос: «Кому сбитня? Кому горячего, инбирного, медового? За кружку — полушку! За две кружки — две полушки, а три — даром бери!» — вся сомлела. Заревом щеки залились.

О господи, ведь он, Федор!

Неужто?

Он, он!..

Сперва хотела объявиться, кинуться к нему, крикнуть: «Федя, вот я!» Постеснялась. Но, спрятавшись за какой-то размазанный холст, смотрела на него, любовалась им. И налюбоваться не могла. Милый ты мой! Соколик ты мой! Да как же я рада тебе...

Оно, конечно, и балеты, и трагедии, и комедии манили ее каждый день за кулисы, однако — чего душой кривить! — всякий раз, когда летела спектакль смотреть, загадывала: Федя будет ли? Придет ли сбитнем торговать?

Часто подговаривала и плотников и всех иных:

— Не слышите, что ли? Сбитенщик явился. Скорее идите, пока не распродался.

— А ты-то сама напилась уже?

Отвечала, лукаво поблескивая глазами:

— Не по вкусу мне сей напиток... — И сама над собой посмеивалась: не по вкусу... Как же! Еще как по вкусу этакий слад-

кий, душистыи, да чтобы Федор сам в кружку налил, да чтобы при этом ласковое сказал...

Смотря на него исподтишка, спрятавшись среди декораций, думала: «Забыл он меня, неразумную, али еще помнит?» Иной раз и сердилась на себя, что сама никак не может его позабыть, что смотрит на него, любит его красотой, что хочется перекинуться с ним хоть каким-никаким словом, а подойти и сказать: «Здравствуй, Федорушка!» — такой решимости нет... А он бы как? Приветил бы ее?

Один раз все же налетела на него. Одна актерка попросила ее сбегать на ту половину, где мужчины актеры одевались к спектаклю. Санька и побежала. Тут и наткнулась на Федю. Ахнула. На секунду остолбенела, потом шарахнулась в сторону. И он ее заметил. Вскрикнул: «Саня...» Она же, юркнув в закоулок между декорациями, там притаилась. Дышать перестала. Он же в недоумении оглядывался, очумело вертел головой. Потом сказал: «Померещилось, видно...»

А Санька ликовала. Зажав ладонью рот, смеялась от радости. «Глупый, смешной дуралей... И ничего тебе не померещилось! Ведь я была перед тобой...» Но с того дня не сомневалась: не только она о Феде — и он о ней помнил, тоже ее не забыл.

А вот нынче, когда, укутавшись в старый платок, бежала искать отца, страх как не хотелось с ним встретиться. И надо же... Он возьми да и повстречайся! Вот как иной раз бывает.

Услыхала его голос:

— Саня!..

Вздрогнула. Остановилась. Вот напасть-то... Фу! И рада бы радешенька, а все же не надо бы.

А он ей, весело заблестев глазами:

— Куда ж ты делась, Саня? Ведь искал тебя, почитай, по всей Москве...

Она же, веселясь и радуясь, отвечала:

— Так уж и по всей? Брешешь ведь...

— Право слово. А тогда, в тот день, ты зачем же убегла из театра?

— А зачем мне убегать? Я и теперь все там же...

— Так, стало быть, тебя я видел? Ты была? Недели две тому уж будет...

— А как же! Кого ж еще? Слыхала, как звал... Думал, что привиделась? А это я была! Спряталась за боковую кулису...—

И вдруг, озорничая, прибавила: — И потешалась же над тобою...

Увидела, как Федор крепко стиснул зубы, как на скулах заходили желваки. Обиделся, значит? Продолжая озоровать, еще добавила:

— Все кишки надорвала, вот до чего потешалась. Истинный бог...

Поняла, что пересолила. Испугалась. Вдруг Федя повернется и уйдет. Навсегда уйдет.

Но он не ушел. Только хмуро спросил:

— В театре чего делаешь?

— А хочу актеркой стать,— посмеиваясь, ответила Саня.

Зачем такое сказала, сама понять не могла. Тогда еще и в мыслях не держала, чтобы стать актеркой. Просто так, с ходу брякнула. И удивилась, как это шарахнуло Федю. Он поглядел на нее с таким обидным изумлением, будто она ему сказала, что хочет невесть кем стать — княгиней, что ли, али царицей.

Спросила, залившись румянцем:

— Не гожусь в актерки, что ли?

Сказав это, Санька вдруг почувствовала, что выдала самое свое тайное, самое сокровенное, такое, что было спрятано и от нее самой в такой глубине, что и не добраться. А сказав это, разозлилась на себя, с вызовом поглядела на Федю.

— Чего молчишь? Не гожусь в актерки? Не хороша, да?

Федор пристально и долго смотрел на Саньку. Потом сказал:

— Не в том дело.

— А в чем же?

— Актерское дело — оно такое...

— Какое?

— Да замуж никто из порядочных тебя не возьмет. Не позарятся...

— Замуж?..

Санька сперва не поняла. А поняв, вспыхнула. Сощуриив ресницы, гневно посмотрела Феде в глаза.

— Такой, как ты, оно, может, и не возьмет, да мне такого и не надобно...— и, круто повернувшись, пошла в сторону Смоленского рынка.

Не пошла, а побежала. Побежала, глотая слезы. За спиной слышала:

— Саня, Саня, Саня...

Не остановилась, не обернулась. Так до самого конца Арба-

та и домчалась, а там повернула в переулок. Не хотела с такой зареванной рожей встретить отца.

Вернулась обратно в каморку окольными путями. А вернувшись, кинулась на скамью и ну реветь. Вдоволь наплакалась: знала, что сюда Федя не придет, никогда она его хоть издали да не увидит, не услышит его голоса. И пеняла на себя, ругала себя, потому что понимала — сама виновата, что такая получилась у них встреча, хоть ждала этой встречи почти три месяца.

Когда дедушка Акимыч вошел в каморку и увидел Саньку с опухшим от слез лицом, он по-своему понял ее слезы.

— Опять лиходейка? — спросил он, подразумевая Степаниду.

Санька кивнула: мол, да, опять.

— Не ходи более, сударушка. Сами обойдемся, неужто дадим тебе мерзнуть?

И через несколько дней Анюточка принесла преогромный узел.

— Ну, Санечка, гляди и радуйся! Шубейку тебе принесла...— И, развязав узел, Анюта встряхнула перед изумленной Санькой малиновой бархатной шубейкой на заячьем меху.

— Анюта... О господи!

— Ну, старенькая шубейка, так ведь у тебя руки имеются. Где надобно, залатаешь, зашьешь... Дедушка, нет, ты глянь на Санечку, она у нас словно бы совсем рехнулась!..— вскричала Анюточка, и так и этак повертывая перед Санькой принесенную шубейку.

— Откуда? — шепотом спросила Санька.

Степан Акимыч, глядя на девчонок, посмеивался, потирал друг о друга сухонькие, шуршащие ладошки.

— Откуда? Откуда? С небес свалилась да прямо к твоим ногам, вот откуда... *C'est joli? C'est charmant? C'est belle?* Ну и носи на доброе здоровье! Давай примеряй, Санечка. Ладно ли тебе приходится сия обновка...

— О, ма шер! — вдруг тоже на французский лад обрадовалась Санька и кинулась на шею Анюте.

Пришлась эта шубейка в самый раз.

— Что правда, то правда, — сказал Степан Акимыч, любуясь Санькой в малиновой обновке. — Ишь какая раскрасавица...

А уж потом Санька узнала, что Анюточкина хозяйка велела взять для Сани ее старую-престарую шубейку, которая за неадапностью валялась в чулане много лет. Прибавив при этом: пусть сия шубейка будет платой за все роли, какие много раз



переписывал ей дедушка Акимыч и за какие не отдала она ему еще ни копейки.

Об этом-то Санька хоть никогда и не узнала, но стала еще добрее и ласковее относиться к дедушке Акимычу и Анюте. А чем еще можно отблагодарить за доброту людскую? Лишь только собственной добротой и лаской...

\* \* \*

— Дедушка,— спросила Санька как-то раз у Степана Акимыча,— сдается мне, что Анюточка умеет грамоте?

— А как же! — воскликнул тот.— Она и «Бедную Лизу» нашего великого сочинителя Николая Михайловича Карамзина всю от строки до строки прочитала...

— Дедушка,— снова спросила Санька,— не вы ли, дедушка, Анюточку грамоте выучили?

— А кому же ее учить, коли она со мной осталась вот такой махонькой?

— Дедушка,— опять спросила Санька у Степана Акимыча,— а меня, взрослую дуру, меня-то можно обучить? Ведь я нисколько грамоте не разумею...

И тогда Степан Акимыч с великой торжественностью вытащил из шкафа книгу. И хоть не могла эта книга в шкафу запылиться, подул на нее, якобы сдувая с обложки все невидимые глазу пылинки, какие могли бы эту книгу замарать.

— Вот, Санечка,— сказал он с важностью, показывая Саньке книгу.— Сей подарок дал мне собственными руками наш великий сочинитель Карамзин. Самолично, самолично поднес мне сей великий для меня дар. Ты не смотри на название. Название — оно ничем не примечательно. «Мои безделки» называл сочинитель сборник своих сочинений. Но ведь иной раз бывает — и человек носит непримечательное имя, но сам кладезь премудрости и познаний! Так и в этой книге. «Бедная Лиза», «Натаалья — боярская дочь», «Остров Борнгольм» — вот какие сочинительства здесь собраны... Чуешь, сударушка? Анюточку обучил я грамоте по сей достопримечательной книге и тебя буду учить по ней же...

И Санька начала постигать грамоту по сборнику Карамзина «Мои безделки».

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

О ТОМ, КАК САНЬКА РЫДАЛА НАД «БЕДНОЙ ЛИЗОЙ»  
КАРАМЗИНА, КАК УВИДЕЛА НА НЕБЕ ХВОСТАТУЮ ЗВЕЗДУ  
И НАСТУПИЛ НОВЫЙ, 1812 ГОД

Они оба дивились — и Степан Акимыч и Санька. И каждый по-своему. Степан Акимыч — тому, с каким неистовым упорством Санька учила буквы, как легко поняла, что из букв можно складывать слова, и неожиданно быстро начала читать. Даже Анюточка, его любезная Анюточка, и та не могла сравняться с Санькой. Подумать только — хоть и не за один месяц, а все же одолела и «Бедную Лизу», и «Наталью — боярскую дочь», и «Остров Борнгольм»! Чуть ли не всего Николая Михайловича Карамзина...

Санька же думала иное. Ох, и трудная же наука — грамота! Семь потов сойдет, пока все буквы вытвердишь... Долбишь, долбишь, а они, подлые, из головы так и выскакивают! Аз, буки, веи... Аз, буки, веи... А зачем нужна буква «ер», коли буква эта и вовсе не выговаривается?

Но главное ведь не в том: ладно, затвердила все до одной — и подряд можно сказать и вразбивку. Главное в другом: букв сколько? Не более четырех десятков. А сколько слов из этих букв можно сложить? Несчетно! Все слова, какие человек говорит от малых лет до самого своего смертного часа, — все из этих букв можно прочитать. Вот это диво дивное! И каждое словечко самое легкое, к примеру, «Маша» али «каша». И такое трудное, что язык свернешь, пока выговоришь.

Иногда забавы ради Санька начинала складывать про себя буквы с буквами. Что, мол, получится? То вовсе ничего не выходило, то выходило знакомое слово, а то какое-то совсем непонятное. Спрашивала у дедушки Акимыча. Тот объяснял терпеливо, доходчиво. А сколько всего знал!.. Ведь надо же! И вот ведь судьба незавидная, жалела она Степана Акимыча: ума палата, а сидит в своей дыре, в суфлерской будке, и только всем роли подсказывает. И какая-нибудь актерка может накричать на него, как наемни Баранчеева: «Ты чего, старый дурак, себе под нос шамкаешь, ничего не слышать!..» Она, Санька, убила бы эту самую Баранчеву, задушила бы собственными руками. А дедушка Акимыч ничего ей в ответ, только жалобно замигал. Эх! Вот такая в жизни бывает несурязица.

К концу декабря Санька понемногу стала грамоту осваивать. А Степан Акимыч был хитрым учителем. Он было принялся ей читать «Бедную Лизу», разохотил Саньку да и перестал.

— Теперь, Санечка,— сказал ей,— изволь сама дочитывать. Слово за словом — и доберешься до конца. Узнаешь, чем кончилась сия печальная повесть о любви несчастной Лизы и ее негодного соблазнителя Эраста. Ты, сударушка, понятливая, захочешь одолеть — одолеешь. И Анюточка у меня таким же манером обучалась.

Санька и не перечила. Принялась за трудное дело. И слез же пролила, читая повесть о бедной Лизе! Сперва плакала от непосильных трудностей и непонятностей, какие попадались чуть ли не в каждой строчке и даже во многих словах. Гордость же не позволяла всякий раз бросаться за подмогой к дедушке Акимычу. Сама барахталась. Однако, барахтаясь, выучилась и плавать. И вскоре поплыла самостоятельно, радуясь тому, что может теперь преодолевать ранее непреодолимое.

Конечно, сразу же на место Лизы поставила она себя, и негодный дворянский сынок Эраст представлялся ей Федькой-сбищенщиком. И выходило, что повесть о бедной Лизе написана сочинителем Карамзиным вовсе не о Лизе, а о ней, о бедной, покинутой Саньке. И, читая о страданиях Лизы, проливая слезы о несчастной судьбе ее, Санька рыдала взхлеб и о себе, представляя самое себя во всех горестях ее любви. Когда же Лиза, отчаявшись в изменнике Эрасте, утопилась в пруду возле Симонова монастыря, Санька ревела в голос. Шептала про себя: «Утоплюсь, беспрременно утоплюсь... Лед сойдет, кинусь вниз головой и пойду ко дну. Тогда будет знать, истукан, злодейская его душа! Захочет взять меня замуж, а я буду на дне песчаном. Буду лежать бледная и прекрасная!..»

Вот уж чего не знал и не ведал Федор, что, сам обиженный Санькой, прослывет он в ее глазах истуканом и злодеем...

Однако нужно сказать в защиту Саньки: в те годы, подобно ей, все читательницы «Бедной Лизы» мечтали утопиться в пруду возле Симонова монастыря, а своих безвинных вздыхателей приравнивали к бездушному Эрасту.

Однажды вечером, подойдя к дверям своей каморки, Степан Акимыч в замешательстве остановился. Услышал чей-то незнакомый голос — низкий, грудной. И голос этот звучал великой печалью, произнося слова: «Сердце мое обливается кровию в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте — готов проклинать его—

язык мой не движется — смотрю в небо, и слезы катятся по лицу моему».

Крайне заинтересованный, удивленный свыше всякой меры, Степан Акимыч позволил себе заглянуть в замочную скважину. И что же увидел он! Санька, скрестив на груди руки и устремив глаза к потолку, произносит слова из Карамзина. В книгу не смотрит, говорит на память, точно — слово в слово. И такая грусть, такая печаль, такое горе было в ее голосе и глазах, что Степан Акимыч, не зная, как обо всем этом думать, тихонько, на цыпочках, по-журавлиному поднимая ноги, отошел от дверей, бормоча себе под нос: «М-да... вот так сударушка! А говорит-то как... с какими чувствами».

Кое-где походил, кое с кем словом перекинулся, а как стал возвращаться обратно, громко крикнул, якобы с кем-то прощаясь:

— Доброго вам здоровья, сударь! Стало быть, до завтра...

Так хотел деликатнейший Степан Акимыч предупредить Саньку о своем приходе.

Когда он вошел в каморку, Санька с усердием подметала пол.

В самое сердце поразило Степана Акимыча не то, что Санька на память, не глядя в книгу, произносила слова из «Бедной Лизы», поразило его то чувство, то понимание, которое она вкладывала в каждое слово, поразило выражение ее лица и чистый, красивый ее голос. Степан Акимыч считал, что уж кто-кто, а он в этом разбирается получше многих, он-то знает, как надо актерам роль произносить и есть ли у актера подлинный талант. Слава те господи, многих перевидал на своем веку, может судить! «Ведь иную, — думал он, — с голоса учат. Не дни — месяцы проходят, а все без толку. Никакого понятия в чувствах, никакого священного огня в груди... А эта? Ах, сударушка, сударушка...»

И решил он начиная с сего дня попристальнее наблюдать за Саней. А если понадобится, учить ее актерскому искусству. И от этих мыслей сам воспрянул он духом. Надежда, что он откроет для театра новый талант, что станет учителем сего таланта, веселила и радовала его душу, приводила его в неописуемый восторг...

А время шло. Старый год уходил восвояси, и приближался новый, 1812-й.

В самых последних числах декабря Анюточка взялась уговаривать Саньку в канун Нового года вместе погадать.

— Санечка, душенька... — начала она и объяснила, что ее госпожа 31 декабря пойдет в дом Всеволожских. Там будет маскарад, и там она будет встречать Новый год. Гостям надобно собираться к восьми часам вечера, в полночь же будут пить шампанское, снимать маски и начнется бал. До утра будут плясать! А тетенька Фекла посулилась пирогов напечь. С морковью любишь? И орехи, и пряники я припасла. Будем на снег воду плескать, песни петь, ореховые скорлупки по лоханке пускать. Узнаем, Санечка, каков уготовлен нам с тобой суженый.

Санька, потупившись, горько усмехнулась: она-то знала своего суженого, только он ее знать не хочет. Сколько дней прошло, как они тогда на Арбате встретились, а ни разу не приходил в театр сбить торговать. Неужто она его так обидела в тот день?

А ведь она как его ждет! Каждый вечер выглядывает. Только бы снова пришел, она бы ему сказала: «Не верь мне, глупой! Наговорила я тогда на себя. Не потешалась я над тобой, Федя, наглядеться на тебя не могла, вот до чего ты мне люб!..»

Неужто сказала бы она ему такое? Нет, нипочем... Разве можно парню такие слова говорить? Неужто она про девичью гордость, про девичий стыд позабыла?

Но гадать она любила. Когда у матушки с батюшкой жила, еще до мачехи Степаниды, вместе с подружками каждые святки гадала. Совсем еще махонькой бегала вслед за взрослыми девушками в дровяной сарай. Там из сложенной стенкой поленицы — наравне с другими девушками пыталась свою судьбу — таскала полешки. Девушки таскают и всё охают да ахают: им всё не так! То сучковатое полено попадетсся, — стало быть, ерепенистый, сварливый характер будет у суженого. То и вовсе с трещиной, а это точно — будет муженек поколачивать. А Саньке всякий раз в руки лезли ровненькие да гладенькие дровишки. Девушки сердились, завидовали: «Небось наперед себе подставляешь! Признавайся, Санюха, подложила такое поленце?» А Санька посмеивалась: «Хоть и не подкладывала, а заведомо знаю — за ворчуна, за драчуна не пойду! Хоть до старости сидеть мне в ве-

ковушках, а драчливого мужа не надо...» Девушки ее всегда на смех поднимали: «Сосватают, так и за кривого пойдешь! Еще молоко на губах не обсохло — так рассуждать... Неужто спросят тебя? Зашлют сватов, и готовься под венец!»

А еще любила Санька с девушками на птичник ходить, кур кормить. Сперва наложат для кур всякого разного, у кого что есть. Одна скинет с пальца колечко медное, другая — серебряное, а у Аниски, у той было даже золотое. Налиют в плошку воды, накрошат хлеба. А потом каждая свою курицу выпустит, и глядят они во все глаза, к какой приманке подойдет: к золотому кольцу — за богатого идти; к серебряному — тоже не так худо, достаток в доме будет. Ну, а уж если хохлатка начнет из плошки воду пить — пропащее дело: горьким пьяницей будет муж, вся жизнь пойдет под гору.

— И прорубь пойдём слушать. Это всего завлекательнее! Только надо ровно в полночь. Тютелька в тютельку... — сказала Саня.

Нет, о такой ворожбе Анюточка ничего не слыхала.

— Неужто? — У Саньки глаза засверкали, когда стала растолковывать про это гаданье. — Вот это да! Вот это ворожба! Такое иной раз привидится в темной воде, обомлеешь со страха... А главное, сбывается. Пойдешь?

— Пойду, — согласилась Анюточка. — Рассказывай!..

И Санька принялась рассказывать разные случаи, когда гаданье это сбывалось в точности. Была у них девушка, Аниской звали. Увидела в проруби сани да коней. И сбылось: приехали за ней сваты из дальней стороны.

— Высватали?

— Не отдали отец с матерью. Семья там небогатая, Аниска же в богатстве выросла. Так ни с чем и воротились сваты.

— Стало быть, не сбылось гаданье?

Санька с досадой воскликнула:

— Как же не сбылось? Ведь на санях приезжали сваты, не на телеге. Сама подумай, разве не сбылось? Зимней порой приезжали...

Анюта подумала и согласилась: в точности сбылось. Надо им с Санечкой ровно в полночь на Москву-реку сбегать и прорубь послушать. Что-то они увидят в темной воде? О чем им поведает глубина реки?

А у Сани иное в голове. Пожалуй, и права Анюта: разве так сбывается гаданье? Ведь до нынешнего лета сидела Аниска в

девках. А сколько ей уже? Не двадцатый ли год пошел? Уже и перестарок...

Что там гаданье! Разве узнать человеку свою судьбу, глядя в прорубь?

Странной выдалась для них эта новогодняя ночь...

Вначале все было, как задумали. И погадали. И пирогов с морковью, какие кухарка Фекла испекла, поели до отвала. И орехи все сгрызли: ни одна скорлупка не устояла против их крепких белых зубов. Не попалось и ни одного червивого ядра, только целые и сладкие. Все сходилось на том, что год подходит хороший, спокойный, веселый...

Ближе к полуночи выскочили они на улицу и, взявшись за руки, побежали на Москву-реку. Вдруг Санька приостановилась.

— Гляди,— шепнула она Анюточке.— Гляди, какая звезда на небе!.. С хвостом. Никогда такой не видывала. Плохое это знамение, как думаешь?

— Где, где? — затрепыхалась Аня.— Покажи...

— Не туда смотришь... Вон она!

Миллиарды звезд сияли на темном и высоком небе, и среди всех — одна с длинным прозрачным хвостом.

— Вижу, вижу! — вдруг закричала Аня.— Там?

Но охота ей была глядеть куда-то на небо, на звезды, когда рядом такое завлекательное! Должно быть, очень нарядные господа танцуют за окнами богатого особняка, возле которого они стоят...

Она досадовала, что не может хорошенько разглядеть всего, что творится внутри, в доме. Сквозь заиндевевшие стекла окон лишь во множестве виднелись зажженные свечи. Огоньки их сияли трепетно, радужно, многоцветно, искрясь и переливаясь в каждом, даже самом крохотном, кристаллике. И сквозь непроницаемые завесы инея на стеклах, там, за окнами, проносились смутные очертания танцующих пар.

А Саня все смотрела и смотрела на рассыпанные по небу звезды и на ту звезду, которая, прочертив поперек небо, оставляла за собой длинный серебристый хвост... И вдруг почему-то расхотелось ей идти на Москву-реку. Вдруг почему-то страшно стало и непонятной тоской заволодело сердце.

И стояла она завороженная, смотрела на небо, на звезды и думала: «Что-то готовит нам грядущий год?»

Тем временем за большими окнами барского дома нарядные

господа и дамы, видно, стали поднимать вверх бокалы, стали чо-  
каться. Через стекла к ним донеслись веселые голоса.

— Пришел Новый год,— тихо сказала Анюточка.

Санька обняла ее. Прошептала на ухо:

— До веку не забуду, как вы с дедушкой меня приветили,  
обласкали. Пока жива буду, не забуду вашей доброты и ласки.

Анюточка встрепенулась, топнула ногой и вскричала:

— Ах, *ma belle*, охота тебе такие пустяки на века помнить!  
Лучше давай так. Ну, повторяй за мною: «Отвяжись худая  
жизнь, привяжись хорошая! Отвяжись худая жизнь...»

Санька засмеялась, поцеловала Анюту в холодную щеку.

— И то правда — отвяжись худая жизнь... Да и зачем нам  
худая жизнь?

И Анюточка поцеловала Саню, а поцеловав, вдруг вскри-  
чала:

— Санечка, душенька, да ты, никак, плачешь?

— Нет,— сказала Санька и сквозь слезы засмеялась.— С чего  
бы мне плакать?

— А щечки почему мокрые? Нет, ты мне скажи, ответь: поче-  
му плакала?

Да разве могла объяснить ей Саня свои слезы и тоску, кото-  
рая вдруг стеснила ее грудь. Лишь сказала:

— Пойдем к дедушке.

— Да он спит.

— Не спит, нас ждет...

И никто не знал и не мог знать в той полночной Москве, что  
наступивший год несет тяжкие бедствия всей земле русской, все-  
му народу русскому, а более всего — самой Москве. Веселясь и  
танцуя на маскарадах, балах и разных иных местах, люди позд-  
равляли друг друга с наступившим 1812 годом, желая друг дру-  
гу доброго здоровья, долгого благополучия и счастья.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

В КОТОРОЙ МОСКВА ЖДЕТ ПРИЕЗДА ДВУХ ЗНАМЕНИТЫХ  
АКТРИС, САНЬКУ ЖЕ СНЕДАЕТ ЛЮБОПЫТСТВО

Вскоре после Нового года среди театральной публики Моск-  
вы разнеслась молва: из Петербурга на гастроли едут две зна-  
менитости — Екатерина Семенова и мадемуазель Жорж Веймер.  
Две трагические актрисы. Обе любимицы петербургской публи-



ки. Одна, приехав из Франции, так и осталась в России, где выступала эти годы со все возрастающим успехом. Другая же была воспитанницей Петербургской театральной школы. Дочь крепостной девушки Дарьи, Екатерина Семенова уже много лет слыла гордостью русской сцены.

Обе они придут одновременно. У той и другой сонмище почитателей их таланта. Каждая считает себя единственной и непревзойденной. И та и другая собираются пленить своей игрой Москву и упрочить за собой славу, завоеванную в Петербурге.

Лишь только пронесся слух об этом приезде, среди театралов пошли нескончаемые дебаты, споры, разговоры. В театральных ли креслах партера или в райке, в барских гостиных или на гуляньях, среди военного или служилого люда, и днем и по вечерам, всюду, где собиралась компания истых театралов, возникал спор: кто — Семенова или Жорж? Кому отдать пальму первенства?

Публика разбилась как бы на два враждующих лагеря. Иные лучшей актрисы, кроме Жорж, не видели и не знали. Другие горой стояли за Екатерину Семенову. Только ей отдавали все лавры наипервейшей трагической актрисы.

Именно в начале 1812 года театральная Москва стала свидетельницей этого соперничества. И бой, который завязался между соперницами, явился как бы шагом к великой славе российского театра.

Но, кажется, более всех в Москве ждал приезда знаменитостей Степан Акимыч.

Он и говорить теперь не мог ни о чем, кроме как об этих двух актрисах — о Жорж и о Семеновой. Думал, гадал, в каких трагедиях будут они выступать. Хотя труппа французских актеров для дебюта Жорж уже репетировала «Федру» Расина, однако уверенности в том, что та захочет выступить именно в роли Федры, не было никакой.

Степан же Акимыч и не сомневался, что Жорж обязательно покажет Федру, свою самую лучшую роль.

— Всенепременно Федру, вот увидишь, Санечка: будет она играть Федру. И ты посмотришь ее в подлинном величии трагического таланта. Уж я и ночи перестал спать, всё видения одолевают... Думаю, вот и еще раз придется увидеть великую Жорж! Она побывала в нашей столице, в матушке-Москве, в 1809 году. Тогда все головы были помрачены ее талантом. За ее

каретой бегали, после каждого антракта так хлопали да кричали, что стены театра, казалось, вот-вот рухнут... Триумф, триумф полнейший!

— А Семенова? Она похуже будет? Анюта давеча говорила — никакого сравнения...

Степан Акимыч даже руками замахал:

— Да ты и не слушай Анюточку!.. Ничего она в сем высоком искусстве не понимает. К тому же слишком привержена ко всему французскому. Уж это мне французолюбие! Екатерина Семенова звезда! Светлая, роскошная звезда на нашем небосклоне... По мне, так Екатерина Семенова сильнее берет за душу, она чувствительнее Жорж... Как бы тебе сказать, Санечка? Оно, конечно, Жорж—превосходная актриса, ну, прямо тебе говорю — первейшая величина! Но холодновата... холодновата... Заученности в ней много, напевности в голосе тоже чересчур. Я как-то осмелился сказать об этом и был осмеян и обруган без пощады.

Никак не могла понять Санька, кто же из них лучше — Семенова или Жорж? Не могут же быть обе равно хороши! И она, стараясь допытаться, выпрашивала у Степана Акимыча:

— Стало быть, Катерина Семенова получше этой самой Жорж? Нет, вы скажите мне, дедушка, стало быть, она получше будет? Гораздо лучше?

Степан Акимыч и на это замахал руками:

— Что ты, что ты... Как можно такое говорить? Да вот вскоре увидишь и ту и другую, тогда сама рассудишь. Теперь скоро придут...

За эти несколько месяцев, которые Санька провела при театре, она всего и наслушалась, и насмотрелась; пожалуй, и правда могла судить о многом сама. Теперь уже не была той желторотой девчонкой, которая смотрела на озеровскую трагедию с высоты райка. Знала всех московских актеров наперечет. Знала, у кого какая роль идет лучше, а какая хуже, во многом понимала толк. К тому же и Степан Акимыч своими рассказами способствовал этому.

И Саньку мало-помалу стало снедать такое любопытство, что и она не могла дожидаться дня, когда наконец придут петербургские знаменитости.

А тут еще и Анюточка подогревала ее любопытство. Влетит к ним, сесть не сядет, а прямо с ходу начнет:

— Ах, та сhere, ах, топ реге, чего сейчас расскажу!..

И пошла, и пошла сыпать. Конечно, главным образом о Жорж. Ведь все-таки была служанкой у французской актрисы, и, надо думать, все разговоры там вертелись только вокруг Жорж.

— С пяти лет стала актеркой...

Санька ахала:

— Да ведь, поди, еще толком говорить не выучилась?!

— А уж до того красива, до того красива! — продолжала Анюточка, всплескивая маленькими ручками. — Высока, стройна, волос черный, глаза блестят... Сам Бонапарт увидел и влюбился... Знаешь, кто есть Бонапарт?

— А то нет?! — Санька даже обиделась. Это прежде она не знала про Бонапарта, а теперь хорошо знает, кто он и что он! — Император французский Наполеон, вот он кто!

Они с дедушкой Акимычем его лютой ненавистью ненавидят. Как придет дедушка из трактира, как начнет про козни этого самого Бонапарта рассказывать, она, Санька, его своими бы руками исколотила, этого самого Бонапарта.

А Степан Акимыч и правда последнее время повадился ходить в ближний трактир, в тот, что по соседству, на Молчановке, разные разговоры слушать. Рассказывал Саньке: «Вот ведь до чего дело дошло — все королевства к своим рукам прибрал да в каждом себя королем венчает. Да что — себя! Всех братьев, всех сестер королями да королевами объявил... Вот он каков, сей узурпатор! И главное, сударушка моя, свои войска все ближе да ближе к нашей границе тянет. Вот в чем главное-то! Как наслушаюсь всех рассуждений про Бонапарта, так веришь ли, сударушка, мороз по коже...»

Санька слушала дедушку Акимыча, и у нее мороз по коже. Анюточка же от этих разговоров двумя руками отмахивалась. Вот пустяки какие! Мамзель Луиза хвалит не нахвалится Бонапартом. Любезнейший, говорит, властелин... И театр любит. И актеров почитает.

— В Париже на каждый спектакль, когда мадемуазель Жорж играла, хаживал. Но прослышал о сей великой актрисе наш император Александр Павлович, и дал он тайное предписание одному русскому графу, который жил в Париже, сманить эту самую Жорж в Петербург. Сказано — сделано! Народ собрался в театр, ждут выхода Жорж, а она уже катит в почтовой карете пря-

мо к нам... И до того ловко укатила, что никакая погоня за ней не поспела.

Санька повернулась к Степану Акимычу, глазами спросила: «Так ли дело было?» Тот кивнул:

— Все так, Санечка. Правильно Анюта рассказывает. С ней вместе бежали тогда из Франции в Россию и знаменитый танцовщик Дюпор, а также ее младшая сестра танцовщица Бебель, и еще актер Флорио... Польстились громадными деньгами, какие им сулила дирекция театров. А деньги до того громадные, что ни один наш актер, самый превосходный, таких в глаза не видывал за всю свою жизнь...

— Парадный салоп-то у нее тысячный! Из лучшего собольего меха,— опять вступив в разговор, начала Анюточка.— Одних дорогих турецких шалей с дюжину, а может, и поболее того. Обедает не иначе, как на серебре... А бриллиантами вся усыпана... с ног до головы!

Санька слушала, замороженная, только и успевала вскрикивать: «Ишь ты!», «Да ну!..», «Надо же...»

Но сердцем она была с другой, с Семеновой. И то, что та была русской и что мать ее была простой крепостной девушкой Дарьей — все влекло Саньку именно к ней, а не к знаменитой француженке, усыпанной с ног до головы бриллиантами и обедающей на чистом серебре.

И, думая о Екатерине Семеновой, представлялась Саньке девушка скромная, тихая, печальная, с голубыми глазами и русской косой, вроде бедной Лизы из Карамзина. И жалела она Екатерину Семенову, и хотелось, чтобы она была на сцене прекраснее, чем гордая француженка, приехавшая из чужой страны загребать тысячные деньги, да собольи салопы, да дорогие бриллианты...

А время шло.

Январь перекатился на вторую половину, а из Петербурга не ехала ни та, ни другая. Уже не любопытство, даже не нетерпение, а страх стал одолевать Саньку: чего они обе тянут? Чего не едут? Хотят дожидаться, когда придет великий пост и в театрах прекратятся представления? А вдруг вовсе раздумали и не приедут?

Но вот снова разнеслась крылатая молва:

— Она едет!..

И наконец:

— Она уже здесь!

Это приехала мадемуазель Жорж Веймер. И остановилась она на Тверской улице в доме Салтыкова.

Надо же было такому случиться! Именно Саньке удалось одной из первых увидеть петербургскую знаменитость. Да разве только увидеть...

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ, В КОТОРОЙ САНЬКА ЗНАКОМИТСЯ С ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ АКТРИСОЙ ЖОРЖ

Получилось именно так, как предполагал Степан Акимыч: свое выступление в Москве Жорж решила начать «Федрой» Расина. В этой пьесе была одна из ее лучших трагических ролей. Она играла преступную супругу афинского царя Тезея — Федру.

Все места на этот спектакль были расхвачаны заранее, хотя барышники драли за билеты чуть ли не вчетверо дороже. Съезд публики ожидался огромный. Не только истые любители театрального искусства рвались на спектакль, — и все именитое московское дворянство почитало за необходимость присутствовать в театре при первом дебюте французской актрисы.

Несколько дней спустя после приезда Жорж в Москву была назначена репетиция с ее участием.

Все давно было готово.

В сером полумраке сцены возвышался дворец дорической архитектуры, декорация, созданная знаменитым в то время художником Скотти. Актеры были в сборе. Переодетые в туники и хламиды, они без толку слонялись по сцене, мерзли, перекидывались друг с другом раздраженными репликами. Против назначенного для репетиции часа прошло изрядное время, а Жорж не ехала. И это пренебрежение к ним, своим собратям по сцене, сердило их и волновало.

Санька была тут же.

Нынче утром поднялась чуть свет. Убрала все актерские уборные, а с особой тщательностью ту, которая предназначалась для Жорж.

Их превосходительство Аполлон Александрович распорядился поставить туда и новое зеркало в резной раме, и новые креслица, обитые зеленым кретоном. И даже привезли (надо ду-

мать, прямо из дома Аполлона Александровича) еще одно занятное креслице — козеткой зовется. Сразу двое сидеть могут. И жирандоли туда поставили. Их принесли из кабинета Аполлона Александровича. И на свечи не поскупились. Не сальные воткнули, а восковые. И не одну свечечку, а по пять штук в каждую жирандоль. Вот должна быть красота, когда все десять зажгут!

И теперь, окончив свои дела, Санька стояла на обычном месте, в уголке за левой кулисой. Отсюда, не пропуская ни одного спектакля, она смотрела все, что шло на сцене Арбатского театра. И на русском, и на французском языках. И драмы, и комедии, и трагедии, и водевили, и оперы, и балетные феерии. А сейчас она, может быть, еще с большим нетерпением, чем остальные, ждала приезда знаменитой Жорж. Не понимая французских фраз, которыми перекидывались актеры, она чувствовала их раздражение, нетерпение и обиду. И сама она, устало переминаясь с ноги на ногу, тоже с нетерпением поглядывала на дверь: да что ж она, эта самая Жорж? Совесть-то есть у нее? Ведь истомились все, дожидаячись...

Вдруг к ней подошел один из актеров французской труппы. Санька знала: он тут главный. На ломаном русском языке спросил, знает ли Саня, где находится на Тверской улице дом графа Салтыкова.

Санька встрепенулась, ответила с готовностью: как не знать? Очень даже хорошо знает она дом Салтыкова.

А у самой сердце сладко екнуло: а ну как ее пошлют к этой самой Жоржи и велят сказать, чтобы та поторапливалась?

Тогда француз спросил: не может ли Саня быстро-быстро сбегать на Тверскую именно в этот самый дом графа Салтыкова?

И снова Санька ответила с готовностью: отчего же не мочь? Вполне она может. Да хоть бы и сейчас...

И тогда француз стал объяснять Саньке, что она должна сделать. Сбегать — это да! Но упаси бог, чтобы она, Санька, попала на глаза мадемуазель Жорж! И чтобы, упаси бог, Жорж не подумала, что ее торопят. Саньке надобно только узнать, и ничего более... О, только узнать!

— Ты умный девочка, и ты должен все уразуметь и тут же бежать обратно. Мы только желаем знать... О! И ничего более — скоро или не так скоро она изволит прибыть. Ты понял меня, Санья?

Санька усмехнулась: как не понять? Не дура, все поняла! Ну и боится же он эту самую Жорж... Аж весь позеленел со страха.

Однако это не ее дело — боится или не боится. А сбегать она может. Поглядит и мигом назад.

Тут же услышала наставление дедушки Акимыча. Он тоже собрался поглядеть на репетицию, не сидел в суфлерской будке, а стоял рядом с Санькой, тоже за левой кулисой.

— Сударушка, сие поручение деликатнейшего свойства. Смотри, сударушка, не осрамись, не испорти дела...

И уже ей вдогонку:

— Сия особа весьма строптивого нрава. Только на глаза ей...

Он еще чего-то говорил, но Санька не слыхала. Вбежав в каморку, накинула на плечи шубейку, затянула на голове платок и пулей вылетела из театра.

Побежала на Тверскую улицу вдоль Тверского бульвара. Думала: в конце бульвара завернет налево, там недалеко и дом Салтыкова. Бежала и про себя дивилась: почему все ее так страшатся, эту самую Жорж? Неужто так свирепа? А может, и рукам волю дает? Или от ее знаменитости такой страх всех обуял?

Добежав до красивого особняка графа Салтыкова, в котором остановилась Жорж, Санька увидела возле дома щегольского вида карету, а вокруг толпу зевак. Из отдельных фраз, которыми обменивались люди, поняла, что карета ждет актрису, а та должна вот-вот выйти. И кучер уже на козлах, и вожжи держит наготове.

Собственно говоря, все, что требовалось, Санька разведала: карета у подъезда, кучер на козлах, сама вот-вот выйдет и покатит на репетицию. Ей бы и надо было теперь быстрехонько повернуть назад и доложить в театре: сейчас, мол, прибудет ваша Жорж, ждите!

Но именно этого сделать Саньке было не под силу: вернуться и не увидеть немедленно, сию же минуту, ту, о которой было столько толков и пересудов? Не поглядеть, какова та самая Жорж, которая так лихо удрала из Парижа из-под самого носа Бонапарта?

И, заметив полуоткрытую дверь, из которой должна была появиться актриса, Санька недолго думая юркнула в эту дверь. Сама дивясь своей отчаянностью, скорехонько стала подниматься по отлогим мраморным ступеням. Ее никто не остановил, и, ни-

кем не остановленная, она бежала наверх, удивляясь всему, что видела: и красивым узорчатым перилам, и мягкому ковру под ногами, и причудливой хрустальной люстре, которая, спускаясь с лепного потолка, вся играла, переливалась разноцветными искрами.

«Ну и живет! Ну и богато! По-царски!» — думала Санька, а сама все поднималась и поднималась по лестнице.

И вдруг из-за высокой двухстворчатой двери, в которую упиралась лестница, услышала странный, не похожий на человеческий, громкий скрипучий голос. И голос этот повторял все одно и то же, одно и то же:

— O ma belle Georg! O ma belle Georg! O ma belle...

Не удержавшись, Санька сунула нос туда, откуда слышался странный голос. Увидела рядом с дверью большую позолоченную клетку, а в клетке — на жердочке пеструю птицу с красным хохлом и крючковатым клювом. Крутя головой туда-сюда, поглядывая на Саньку круглыми желтыми глазами, птица продолжала безостановочно выкрикивать:

— O ma belle Georg! O ma belle Georg...

Санька засмеялась: чудеса! Сроду не приходилось ей видеть таких диковинных говорящих птиц.

А так как клетка с птицей стояла рядом — руку протянуть, — то Санька, протянув руку, вздумала погладить попугая по красному шелковистому хохолку.

А попугай возьми да и тяпни Санькин палец. Чуть ли не до крови.

— Дурак! — рассердилась Санька. — Ему с лаской, а он драться!.. Дурак, дурак...

И неожиданно услышала в ответ раскатистый злобный выкрик:

— Дур-р-рак... дур-р-рак...

В это самое мгновение одна из дверей распахнулась, и в комнату с попугаем вбежала высокая девушка, одетая, как для выхода, в нарядный бархатный салоп, с круглым коробом в руке, похожим на тот, в каком Анюточка носила в театр костюмы своей Луизы Мюзиль. Увидев Саньку, девушка сперва остолбенела, а потом на нее напустилась, да на чистейшем русском языке:

— Ты отколь такая взялась? Ты зачем здесь? Кто тебя пустил? Да еще нашего какаду дразнишь... Сейчас крикну квартального... Чтобы сей минутой тебя здесь не было!..



Сперва Санька до смерти испугалась. А как тут не испугаться, когда без спроса в чужой дом влезла? Но, услышав про квартильного, сильно рассердилась.

Да что она, воровка или еще кто-нибудь, чтобы квартильного звать? И, забыв все наставления, какими ее провожали из театра, она сама напустилась на девушку в бархатном салопе. А что девушка — прислужница Жорж, это она смекнула с первого взгляда.

— Я те дам квартильного! Твоя Жорж, почитай, два часа на репетицию не едет. Разве так можно? Тоже ведь там люди ее ждут... Ишь загордилась... Бессовестная!

Сказав это, Санька испугалась до ужаса. Вся обмерла. Сохла. Ну, теперь держись, девка! Будет тебе нахлобучка, своих не узнаешь...

Но девушка, ничуть не рассердившись, наоборот, стала оправдываться:

— Да разве я виновата? На меня чего орешь? Десять платьев сменили, вот и опаздываем... Понятно тебе?

Из соседней комнаты раздался громкий, повелительный окрик. Девушка поспешно бросила Саньке на руки круглый короб с нарядами. Пробормотала:

— Зовет... Здесь обожди... Сейчас выйдем... — и кинулась на зов своей госпожи.

Санька застыла с круглым коробом в руках, устремив глаза на ту дверь, из которой с минуты на минуту должна была появиться Жорж.

И она появилась. Статная, красивая, чернобровая, укутанная в дорогую шубу. У Саньки вихрем пронеслось в голове: «Та самая, соболья, тысячная...»

А Жорж, метнув на девчонку быстрый взгляд, нахмурилась. Через плечо спросила у своей прислужницы, кто такая. Та ответила. Жорж еще сильнее свела брови.

У Саньки же мельтешило в голове: поздороваться ведь надобно, а как? Отвесить русский поясной поклон или, подогнув ножку, присесть по-чужеземному? Не сделала ни так, ни эдак. Смотрела на Жорж испуганно и восхищенно, чуть полуоткрыв румяные губы.

Жорж рассмеялась. Пробормотала что-то, потом потрепала Саньку по щеке рукой, затянутой в тугую душистую перчатку, и поплыла к той мраморной лестнице, которая вела вниз. Девушка в синем салопе поспешила следом. И Санька тоже, все не вы-

пуская из рук круглого короба, который сунула ей в руки прислужница Жорж.

Потом Жорж со служанкой сели в карету, а Санька пристроилась на козлах рядом с кучером. Визжа колесами по мерзлому снегу, карета тронула с места.

Так и прибыли в театр все втроем — Жорж, да ее прислужница, да девчонка Санька с круглым коробом на коленях.

Все ахнули, а более всех дедушка Акимыч:

— Да возможно ли сие? Глазам своим не верю!..

Санька лишь плечами повела: а что ж такого? Ну, взяла да и приволокла в театр эту самую Жорж. И сама цела осталась, и она не шибко гневалась...

\* \* \*

А потом началась репетиция.

В унылом и пустом зале зашелестели развевающиеся одежды, раздались звучные и торжественные строфы, и потекло величественное действие античной трагедии. В бледном свете зимнего дня казалось, что тени древних греков в туниках и хламидах навсегда завладели подмостками Арбатского театра и останутся здесь навечно...

А Саньке, которая жадно смотрела на репетицию, вдруг подумалось: а не напрасно ли все актеры с таким нетерпением ждали эту репетицию? Ведь Жорж не было до них ровно никакого дела. Она была на сцене как бы совсем одна, сама по себе.

Напрасно старая Энона, ее кормилица и наперсница, заглядывая ей в лицо, о чем-то просила, молила. Жорж на нее и не глядела, словно рядом было пустое место. И красавец Ипполит, сын Тезея, облаченный в звериную шкуру, и он зря старался. Хотя, как понимала Санька, именно из-за него и заварилась вся эта трагедия.

На сцене ходила, говорила, любила, страдала, надеялась и вновь падала духом, ревновала и торжествовала лишь она одна — прекрасная Федра в своей звездной тунике, с золотой повязкой на голове. Остальные участники репетиции должны были вовремя подавать ей реплики, и только.

«А может, так оно и надо? — думала Санька. — Ведь люди придут смотреть только на знаменитую Жорж. Что им до всех остальных?»

Но думала она и рассуждала, пока Жорж не было на сцене. Едва та появлялась, едва в пустом зале раздавался ее красивый, звучный голос, то понижаясь до чуть слышного шепота, то громко, нараспев произносивший слова, как все мысли и рассуждения мигом вылетали из Санькиной головы. И она оказывалась как бы во власти прекрасной Федры, во власти ее голоса и движений, в каком-то сладком плену, в том рабстве, из которого не было нужды освобождаться...

Как хорошо, что дедушка Акимыч прочел ей, и не единожды, всю трагедию Расина, переведенную на русский язык! Как хорошо, что она, Санька, все понимала, а иные стихи могла даже шепотом повторять вслед за Жорж!

И она, не сводя восторженных и удивленных глаз, говорила вместе с Федрой то, что запомнила:

О скорбь! О дни унылы!  
Изнемогаю я; мои слабеют силы.  
Болезненным очам свет тягостен дневной,  
И подгибаются колени подо мной.

\* \* \*

А вечером она спросила дедушку Акимыча:

— Хороша?

Тот как-то неохотно и без особого чувства ответил:

— Что и говорить, хороша-то хороша... — и смолк.

Санька с удивлением посмотрела на него. В глазах вопрос: а плохо чем?

Степан Акимыч, смотря на огонек свечи, говорил будто не Саньке, а размышляя сам с собой:

— Заучено все до крайности. Кто не видел прежде, оно, понятно, восторг несказанный... А я ведь смотрел на нее, когда к нам в Москву изволила приехать в 1809 году. И замечаю: как было тогда, так и нынче. Смотрю и вроде бы командую ее движениями. Шепчу про себя: «Сейчас надобно ступить шаг вперед, а левую ногу отодвинуть назад; а сейчас опустить глаза и вмиг поднять вверх; а сейчас откинуть руки назад и фразу тянуть нараспев, далее же заговорить шепотом, скороговоркой...» И все в точности исполняла по моей команде... Даже смех меня разбирал. Науки много.

— Худо разве, коли наука? — спросила Санька.

— Наука нужна, только ведь и чувствам должен быть простор... Вот посмотрим на спектакле. Может, нынче на репетиции силы берегла, не хотела зря тратить... Семенова, та и вовсе не охоча до репетиции. То скажется больной, то просто по своему капризу не явится. Но какой огонь, когда играет! Чувств, чувств сколько... Иной раз от переполнения этих самых чувств все слова перезабудет, а потом такую взбучку даст суфлеру — держись! Мол, ты виноват, плохо, мол, суфлировал... Вот так-то, Санечка! А ты, Санечка, во все глаза гляди на Жорж, когда играть будет на спектакле. Увидеть сию великую актрису для тебя и честь, и удача несравненная... Все примечай!

Но на спектакле Саньке мало что удалось приметить. Иное заполнило ее ум и чувства.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### О ТОМ, КАК САНЬКА УДИВЛЯЕТСЯ СВЕРХ ВСЯКОЙ МЕРЫ

Дня через два с толпой почитателей прикатила в Москву и Екатерина Семенова. А с нею теперешний ее наставник и учитель писатель Гнедич Николай Иванович.

Не утерпел, приехал следом и князь Александр Александрович Шаховской. Ему, знатоку театрального искусства, как не взглянуть на игру своей бывшей ученицы Катеньки Семеновой. Ждали и князя Тюфякина, грозного директора императорских театров обеих столиц.

И снова пошли суды-пересуды о соперницах-актрисах.

Санька моет пол в актерской уборной, а сама слушает разговор двух актрис. Слушает прилежно, со вниманием.

— А знаете, душенька, какой реприманд устроила Жорж гордячке Семеновой? — говорит одна другой.

— Ах нет, прошу вас, расскажите!

— Представьте себе, Жорж пожелала быть на бенефисе Семеновой, послала ей тридцать рублей, пожелала, чтобы ложа третьего яруса осталась за нею.

— Помилуй бог! Ведь ложа-то небось того не стоит?!

— А вы, душенька, слушайте дальше. На следующий день мадемуазель Жорж получает записку от нашей Семеновой, и та желает побывать на бенефисе Жорж. Однако предлагает за ту же самую ложу третьего яруса двести рублей.

— Ах, ах, ах, такие деньги! Поверить трудно...

И Саньке поверить трудно, что у людей бывают такие деньги. Страсть до чего любопытно: дальше-то что было? Бросила мыть пол, сидит на корточках, слушает в два уха.

— На сем, душенька моя, их колкие любезности не кончились... Мадемуазель Жорж отсылает Семенову обратно ее двести рублей, еще прибавляет своих двести пятьдесят. Эти, мол, раздайте бедным. Каково?

Обе хохочут:

— Проучила! Прелестно проучила...

Санька представила себе разгневанное лицо Жорж, усмехнулась: видно, до самого нутра проняла ее Семенова, коли таких деньжищ не пожалела! Толкуют, что Жорж прижимиста, деньги копит.

— Слыхали, Семенова за роль Аменаиды получила бриллиантовую диадему? Какая-то именитая особа подарила... Красоты сия диадема неописуемой!

— А говорят, у Жорж имеется бриллиантов на сто пятьдесят тысяч... И тоже всё подарки именитейших особ...

Санька же об этом думает по-своему: разве дело в том, что много денег и бриллиантов? Надобно, чтобы в груди горел святой огонь искусства. Вот главное, толкует дедушка Акимыч.

А в ином месте — иные разговоры.

— Кто, сударь, после Жорж пойдет смотреть Семенову?

— Дарования у Сееновой поболее, нежели у Жорж.

— Но мастерство Жорж, ее величественность, голос... Искусство в каждом слове...

— У Сееновой есть голос чувства!

— Что там голос чувства! Жорж образовывалась в школе великих актеров Франции.

— Учителями Сееновой были знаменитые Дмитриевский, Шаховской, а ныне — образованнейший Гнедич... Сеенова покоряет своей игрой, тогда как игра Жорж оставляет вас холодными, хотя изумленными безмерно.

— Продолжим, сударь, наш спор, когда посмотрим игру той и другой. Сравним таланты двух актрис.

— Только будьте справедливы к актрисе русской. А то у нас артист иностранный, хотя и с посредственным талантом...

— Это Жорж — талант посредственный? Ну, сударь, остается лишь пожать плечами.

— Я не о Жорж, не о Семеновой... Я говорю об отношении к талантам русским, коих у нас имеется изрядно в Москве, Петербурге и прочих городах российских.

«Талант? Что такое талант?» — думает Санька. Счастье? Удача? Или учение и работа? Или совсем-совсем иное? А может, ум и доброта? А может, когда нет таланта, ничего не поможет — ни ум, ни доброта, ни учение, ни работа... Но счастье, удача — ведь они тоже помогают? Почему дедушка Акимыч всю жизнь просидел в суфлерской будке? Чего ему недоставало — счастья да удачи или таланта? Бывает же такая муть в голове... Все прежде понятное теперь словно бы туманом заволокло...

\* \* \*

Съезд публики на «Федру» был преогромный. Казалось, зрительный зал Арбатского театра не вместит желающих. Последнее время французские спектакли пустовали. Угроза вторжения Бонапарта, о которой поговаривали все больше и больше, несколько притушила французолобие московских театралов. Но на сей раз от публики отбою не было.

Санька стояла на своем всегдашнем месте за левой кулисой. Неотрывно смотрела в глазок на занавесе. Дивилась многолюдству.

В парадно освещенных ложах, словно напоказ, сидели самые знаменитые московские красавицы. На их обнаженных плечах и локонах сияли фамильные драгоценности. Вся знатная молодежь Москвы заполнила партер — расшитые золотом мундиры военных вперемежку с черными фраками штатских. Сюда, на сцену, доносился тот особый гул зрительного зала, который обычно предшествует началу спектакля: говор публики, звуки настраиваемых инструментов, шуршание вееров, женский смех, побрякивание сабель, звон шпор, приветственные возгласы...

Степан Акимыч подошел к Сане. Стоял рядом, махонький, седенький, однако принарядился — вокруг шеи обмотал трехаршинный белый галстук, как того требовала мода. Нынче он мог смотреть спектакль наравне со всеми: в суфлерской будке сидел суфлер-француз.

Глянул в зрительный зал, шепотом сказал Саньке:

— Вот она, Семенова...

Санька встрепенулась:

— Где? Где?

— Не туда глядишь, левее...

Не только глазами — всем своим существом прильнула Саня к дыре в занавеси. Пошарила глазами по ярусам лож. И увидела. Увидев, изумилась: да неужто эта гордая красавица — дочь простой крепостной девушки?

Семенова сидела в одной из лож третьего яруса (третьего? Стало быть, не зряшные были те разговоры?). Была она в белом платье, опоясанном под грудь лентой с узлом, шею ее обвивала двойная нитка крупных жемчугов. Она не смотрела на сцену. С кем-то разговаривала, повернув чуть вбок свою красивую голову. Однако обнаженная рука в тугой по локоть белой перчатке нервно, не в такт музыке постукивала закрытым веером по алому бархатному барьеру ложи.

И Санька скорее нутром, чем разумом, поняла, с каким ревнивым нетерпением ждет она начала спектакля. И более того — успеха знаменитой Жорж. Сильнее, чем когда-либо, Сане захотелось, чтобы в этом негласном, но очевидном соперничестве обязательно победила своя, русская, Екатерина Семенова...

«Ох, до чего же распрекрасна! — любовалась Семеновой Санька. — Ангел! Истинная муза Аполлонова! Да скажи она мне: «Александра, сей же минутой кинься вниз головой с самой высокой колокольни, тогда я обязательно буду лучше Жорж!» — и кинулась бы, и кинулась бы, не поглядела бы, что разобьюсь насмерть... Хоть с колокольни Ивана Великого, хоть еще откуда, лишь бы приказала...»

А потом, налюбовавшись вдоволь, Саня скользнула взглядом вниз по ярусам лож, по всем этим разнаряженным в шелка и бриллианты барыням, и далее небрежно прошла вдоль кресел партера до самого первого ряда и вдруг невольно вскрикнула.

— Неужто?

Нет, показалось ей...

Да нет, и вовсе не показалось — они, они! Таких разве с кем спутаешь?

Один плешивый, толстый, с длинным носом. У него еще голосок писклявый не по дородству.

Другой же тот, кто обронил на землю свой кошелек. Она с Алексашкой чуть не подралась тогда. Уж это точнехонько они, те самые, которые сидели на Тверском бульваре.

— Ты что, сударушка? — спросил Степан Акимыч, услышав удивленный Санькин возглас.

— Поглядите, дедушка...— Саня отстранилась от отверстия в занавесе.— Да нет же, не туда смотрите! Они в первом ряду. Рядом, их двое...

Степан Акимыч поглядел, куда ему указывала Санька. Тоже удивился. Не очень, а слегка. Не так, как Санька, а по-иному.

— Ба-а, и Петр Алексеевич явился! А толковали, что шибко болеет. Глаз не казал в театр чуть ли не с осени... Не выдержал, взяло за сердце, прибыл. И Александр Александрыч прискакал из Петербурга... Ну-ну...

— Так вы их знаете, дедушка?

— Как не знать! Знаменитейшие люди... Тот, справа,— князь Шаховской, наш славный драматург. К тому же вершитель и распознаватель многих дарований. Он и Катеньку Семенову выпестовал, первый проник в ее талант. А рядом — Плавильщиков. Первый наш московский трагик. Болеет он, Санечка, а то бы увидела, каков на сцене.

— Ах, дедушка, неужто...

— Да ты чего так всполошилась?

Могла ли Санька объяснить Степану Акимычу, почему ее в такое смятение повергла встреча с этими людьми? «Ишь воструха...» — сказал один, когда она догнала их, чтобы вернуть кошелек. А другой усмехнулся и промолвил:

«Субретка, а?»

Тогда она вроде бы обиделась на непонятное слово.

Субретка?

Да отродясь тогда она такого не слыхала. Подумала: обругали, может, ее эдаким непонятным словом?

Теперь-то она знает, понимает, что сие слово означает. А вдруг и вправду будет она когда-нибудь играть в комедиях субреток?

О господи, мысли-то какие вздорные! Не зря же Федор на нее разгневался за те слова — «хочу актеркой стать»... Тогда и в мыслях она такого не держала. Нет, нет, и думать о таком непозволительно. Выкинь, Санька, из головы! Выкинь напрочь...

Оркестр закончил увертюру. Огромная круглая люстра с сотнями горящих свечей, звеня хрустальными подвесками, стала подниматься вверх, чтобы скрыться в круглом отверстии, сделанном на потолке. Зрительный зал погрузился в сумрак, и тогда занавес, слегка поскрипывая, медленно-медленно пополз вверх, открывая древний город Трезены, далекую синь моря и сбоку колонны храма.



На сцене сын Тезея, Ипполит. Он говорит своему престарелому наставнику Терамену:

— Так, оставляю я, друг верный и почтенный,  
Жилище мирное, любезные Трезены.

Нет, теперь Санька не вникает следом за актерами в стихи великого Расина. И в антрактах не любит Семенову. И не смотрит на игру Жорж. Неотрывно следит она глазами лишь за двумя, которые сидят в первом ряду. К ним в антрактах то и дело кто-то подходит. Почтительно кланяются и одному и другому. Разговаривают с ними. А вот один из них ушел... И другой тоже скрылся. Неужели совсем? И не досмотрят «Федры» до конца?

В голове у Саньки теперь лишь одно: как бы им обоим, и тому и другому вместе, половчее попасться на глаза. Чтобы они ее узнали, чтобы заговорили, чтобы спросили: «Так ты здесь теперь, воструха? В театре?» А Санька бы им: «А как же, как же, с самой осени, с того самого дня, как встретились мы на Тверском бульваре... Не позабыли вы меня?» А один из них, тот плешивый князь, который распознаёт таланты и выпестовал Семенову, он ей скажет: «Да как же нам забыть тебя, Александра, такую воструху? А не хочешь ли ты стать актеркой да играть субреток в комедиях и водевилях?» — «Хочу, хочу, — ответила бы Санька. — До смерти хочу! Прикажите только, батюшка князь! Могу сыграть в Мольеровых комедиях, и вашем водевиле «Урок кокеткам», и в «Модной лавке» сочинителя Крылова. Ведь помню все, каждое словечко... Вот истинный вам бог!» А вдруг он скажет: «Так-то так... А талант у тебя имеется, Александра? Без таланта что ты станешь делать, а?»

Талант? О нем, об этом самом таланте, она слышит каждый день, на каждом углу. А что такое сие значит? Талант...

— Дедушка, — чуть слышно прошептала Санька, склонившись к махонькому Степану Акимычу; в глазах ее почти отчаяние. — Дедушка, скажите, дедушка...

А на сцене уже умирает Федра, жертва своей неумной страсти и всех содеянных злодейств. Ее томный голос, слабея и замирая, произносит последние слова последнего монолога:

— Теперь я низойду в обители теней.  
Я пролила в мои пылающие члены  
Яд лютой, в Аттику Медеей принесенный.  
Я чувствую, уже достиг до сердца яд...

Степан Акимыч с недоумением поднял на Саньку взгляд:

— Ты о чем, сударушка?

— Я о таланте, дедушка... Скажите, что сие значит?

Расправив на себе длинную пурпуровую мантию так, чтобы складки живописно расположились вокруг ее тела, Жорж медленно опускается на камень. Коснеющим языком, но таким четким шепотом, что каждое слово слышится в самом отдаленном месте зала, она говорит:

— И смерть, в моих очах простерши темноту,  
Дню ясность отдает и небу чистоту...

\* \* \*

...Степан Акимыч поворошил сухонькими пальцами седые легкие волосы. Посмотрел на Саньку печально:

— Эх, сударушка, кабы я знал... Не ведаю, что сие значит. Дар великий! Иной и не знает, что сей дар у него таится, пока вдруг не откроется. Иной же думает, что обладает этим даром, а на деле получается — эфемер, воздух, а не талант...

А занавес то поднимался, то опускался.

Жорж, сияющая и красивая, выходила, кланялась. На сцену летели букеты цветов, кошельки с деньгами и прочие дары восхищенной публики.

Екатерина Семенова раздумялась, хлопала в ладони, поднявшись с кресел. Буколька на правом виске у нее развилась, волосы повисли вдоль щеки. Она то и дело подправляла их пальчиками в белой перчатке, гневалась на нерадивость куафера Никишки. Попутно обдумывала важное: через неделю ее бенефис, что выгоднее ей играть — роль Ксении, княжны Нижегородской, или Аменаиду из трагедии «Танкред» сочинителя французского Вольтера?

Но боже мой, какой триумф у этой иностранки! Неужто у нее будет менее венков и подношений?

А куафера Никишку надобно как следует обругать! Возможно ли так дурно причесывать?

— Николай Иванович, — оборотясь к стоявшему за спиной Гнедичу, спросила она, — как я выгляжу?

— Как всегда — очаровательны сверх всякой меры...

— Мерси, сударь! — И, словно бы в благодарность за ком-

плимент, промолвила: — Я все-таки решила для бенефиса своего взять Аменаиду в превосходном вашем переводе...

Залившись краской от смущения и гордости, Гнедич низко поклонился...

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ, В КОТОРОЙ САНЯ СНОВА ВИДИТ ПЛАВИЛЬЩИКОВА И ШАХОВСКОГО

С чего же все это началось?

Когда напала на нее та неумемная одурь и она уже не мыслила жизнь свою без театра?

Не с той ли минуты, когда вместе с Федором впервые попала в раек и увидела непонятное, чудное и завлекательное?

Нет, тогда нет. Тогда была лишь усталость, лишь одно витало в мыслях — как бы прилечь, отдохнуть, смежить глаза...

А может, когда первый раз вместе с дедушкой Акимычем ступила за кулисы и с чувством изумления и страха разглядывала дивно раскрашенные холсты, которые — чуть отойти подальше — вдруг превращались то в деревья, то в дома?

Или когда увидела балет «Зефир и Флора» и знаменитого танцовщика Дюпора? В три прыжка перелетал он с одного конца помоста на другой. Да разве простой человек на такие чудеса способен?

И тоже не тогда... В тот вечер, пожалуй, было больше не то удивления, не то страха перед чем-то вроде бы и колдовским, что хотелось ей понять и разгадать...

А не в тот ли день, когда вошла она в актерскую комнату, чтобы всего-то-навсего вымыть там полы?

Да разве сообразишь теперь, когда дурманом закружило голову, когда вселилась в нее та неумемная любовь к театру?

А тот день запомнился. Еще и снега не было. Ливня секли по крышам осенние дожди, под ногами хлюпала раскисшая земля. «Иван Капитоныч, — сказал тогда дедушка, подводя Саню к важному человеку с седыми бакенбардами, — сей особе надлежит держать в чистоте и в порядке все актерские уборные». — «Известно о том, — ответил дедушке Акимычу человек с седыми бакенбардами. — Аполлон Александрович сказывал...» — «Покажите ей, Иван Капитоныч, с чего надлежит ей начать». — «Ладно», — с

важностью ответил Иван Капитоныч и приказал Сане следовать за собой.

Тех комнат, где перед спектаклями переодевались и гримировались актеры, было несколько. Находились они в глубине, за сценой. На одной стороне одевались актрисы, на другой — актеры.

Вслед за Иваном Капитонычем Саня вошла в самую крайнюю.

— Вот отсюда и начнешь мыть,— сказал он.— Нынче у нас пойдет опера «Дианино древо». Знаешь такую?

— Не ведаю,— шепотом ответила Саня, стыдясь своего неведения.

— Распрекрасная опера!.. Пол-то грязный, ножом придется отскребать...

— Отскребу...— все тем же шепотом ответила Саня.

Она робела перед неторопливой важностью Ивана Капитоныча. Еще тогда не знала, что добрейшим человеком был капельдинер Капитоныч. Потом-то запросто с ним была, звала его «Капитоныч» да «Капитоныч»...

Войдя в комнатку, она покрутила головой туда-сюда. Огляделась. С любопытством и пристрастием. Все приметила, глаз у нее был зоркий. Комнатка небольшая, неказистая на вид. И убранства в ней—всего-то ничего... Высокое зеркало все в темных пятнах. Перед зеркалом — столик. Перед столиком — кресло, обитое чем-то старым: на зеленом поле цветики и веночки. И на обоях тоже какие-то пестрые узорчики. Однако кое-где обои отлипли от стены и висели клочьями. Простые крашенные стулья вдоль стены. И все.

Но пахло в этой комнатке... Нет, как же сладко пахло в этой комнатке! Она втянула в себя этот пряный запах так громко, что Иван Капитоныч обернулся. Спросил:

— Ты чего?

Так сладко, приторно и душно пахнут мелкие болотные цветы чуть желтоватой окраски, собранные на стеблях в небольшие плотные пучки. И если нанюхаться этих цветов, дурманом закружит голову, а потом долго-долго нельзя очухаться и будешь сама не своя...

От этого ли застоявшегося в комнатке запаха духов, помады, пудры и разных притираний, а может, совсем-совсем от иного, но именно с того дня стала она сама не своя, вроде бы потеряла разум, богом определенный ей со дня рождения. Имен-

но с того дня — так ей думалось теперь — муза Мельпомена взяла ее в свой сладкий плен, чтобы не отпускать ни на час, ни на минуту.

Не сразу, а исподволь, постепенно накупила на нее крепкие цепи, кованные из железа, серебра ли али из чистого червонного золота. Кто знает, из чего те цепи?

Но с того самого дня любовь к театру, все возрастая и возрастая, заполнила ее душу и ее разум. И не могла она уже представить жизнь свою без театра, без музыки, без освещенного огнями зрительного зала, без того уголка за левой кулисой, откуда она каждый день смотрела на игру актеров. Не могла она себе представить дня и вечера без разговоров о театре с дедушкой Акимычем. Иной раз эти разговоры затягивались у них далеко за полночь...

Ах, девка, девка, совсем сдурела ты, сдурела на всю жизнь... Но какая же дивная эта одурь!

Только ни разу до той минуты, пока не увидела она в зрительном зале Плавильщикова и Шаховского и не вспомнила их слова («Субретка, а?» — «Истинно, сударь, субретка и есть!» — «Так и видится в Мольеровых комедиях...» И засмеялись оба, любуясь Санькой), ни разу ей не приходило до той поры на ум, что и она, Саня, когда-нибудь может стать актеркой. Да разве лишь во сне такое могло ей примерещиться...

А если брякнула Федору в то утро, что хочет стать актеркой, так просто захотелось ей покрасоваться перед парнем, вроде бы вздумалось хвост поярче распустить... А Федор с той злосчастной встречи — да почему ж так вышло? — он-то больше не приходит к ним в театр со своим медовым сбитнем. Нет, не приходит. И не придет, наверно, никогда...

А теперь ей кажется, что вырвалось у нее перед Федей в то утро самое заветное, скрытое от самой себя, все, что уже невидимо скребло по сердцу. Ее тайная мысль, ее тайное желание... Нет, почему ей не стать актеркой? Нет, почему же? Разве она лыком шита?

Бывает так: в сухом валежнике тлеет огненная искорка, тлеет никому не видная, не заметная, словно бы и вовсе нет под охапкой хвороста крохотного огонька. Но вот неизвестно откуда пахнул ветерок, даже и не сильный, а так себе, легкий сквознячок. И подхватит этот сквознячок невидимую глазу искорку, полыхнет огонь. Вмиг загорятся, запылают смолистые ветки, хворостинки, еловые хвоинки, и пойдет гулять огонь, перекидываясь туда-

сюда, все ярче, все сильнее. И жаркое золотое пламя забушует и взовьется прямо к небесам.

Нет, почему же ей тоже не стать актеркой, как те, которых она видит здесь, в театре, каждый вечер?

\* \* \*

Ни о чем не могла теперь думать Санька, только об одном: как бы ей попасться на глаза двум именитым — Плавильщикову и Шаховскому. Так и представлялось ей — взглянут на нее и скажут: «А, старая наша знакомая! Помним, помним, Александрой звать! Субретка выйдет из тебя отличная. Как думаете, князь?» — «Согласен с вами, сударь, преотличнейшая! Скажем, в «Модной лавке» сочинителя Крылова чем не Маша? Али Дорина в Мольеровой комедии «Тартюф». Вполне, вполне годится!»

Но как ни старалась Санька как-либо невзначай встретиться с тем или с другим, никак не случалось. А ведь всякий день бывали оба в театре. Правда, не всегда сидели рядом, иной раз и порознь.

Перед началом каждого спектакля, пока в зрительном зале был полный свет, Санька искала в рядах партера или в ложах бенуара. Радовалась: вот сидит князь Александр Александрыч! Смеется. С кем-то разговаривает. Голосишко тоненький, писклявый, а слышный. Даже очень слышный! И сюда, к ней в уголок за левую кулису, доносится весьма прекрасно. Ах, ах, какой смешливый... Пусть смешливый, зато распознает таланты сразу. Как взглянет, так и распознает...

А в креслах — Петр Алексеевич, господин Плавильщиков, первый московский трагик. Этому, видно, неможется, недужится. Скупой улыбнется и молчит. А когда идет на свое место — всегда он занимает одно и то же, — тяжело опирается на палку. И ногу чуть волочит... Да неужто он не поймет, как ей, Саньке, хочется стать актеркой!

Всякий раз после спектакля Санька опрометью кидалась к выходу — ловить того или другого. И всякий раз видела их только издали. То одного, то другого. Но ведь издали...

И все же пришел день, которого она так ждала. Столкнулась с ними, как и мечталось ей: разом с двумя — и с Плавильщиковым и с Шаховским. Впервые в этот день на сцене Арбатского театра выступала Екатерина Семенова. Шла трагедия Озерова «Дмитрий Донской».

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ, В КОТОРОЙ САНЯ РЕШИЛА СВОЮ СУДЬБУ

Да, в тот день на сцене Арбатского театра шла трагедия Озерова «Дмитрий Донской», выступала Екатерина Семенова.

До последнего часа она колебалась, в какой роли ей выгоднее показаться Москве: в прославленной ли Аменаиде из трагедии Вольтера «Танкред» или лучше играть Ксению, княжну Нижегородскую?

Оно, конечно, нельзя равнять Озерова с Вольтером! К тому же Николай Иванович Гнедич переложил французскую трагедию на русский лад отличными стихами и посвятил свой труд ей, Екатерине Семеновой. Но, поразмыслив здраво, вняла она разумным доводам князя Шаховского — негоже русской актрисе в сей трудный час, когда Бонапарт угрожает вторжением на земли российские, взять пьесу сочинителя французского Вольтера. И Екатерина Семенова, до слез обидев Гнедича, остановилась на трагедии Озерова. К тому же были у нее для роли Ксении сарафан из золотой парчи и кокошник, богато расшитый жемчугом и украшенный драгоценными самоцветами.

Зрительный зал театра в день первого в Москве дебюта Семеновой был полнехонек. Публики собралось, пожалуй, поболее, чем на спектаклях Жорж. И ложи были битком набиты, в каждой человек по десяти. И в партере все места занимались спозаранку, чуть ли не с трех часов пополудни, хоть спектакль начинался в шесть. Да что там ложи и партер! В оркестр, и туда набилась прорва зрителей, музыкантам не повернуться. Платили по десяти рублей за место, лишь бы поглядеть на Семенову. А уж о райке и толковать нечего: стояли впритык друг к другу. Душотища — хоть топор вешай! Люди изнемогали от жары и тесноты, однако не роптали.

Как на спектаклях французских, так и теперь, все особы высшего света были разодеты в лучшие свои наряды. Тугие шелка на дамах шуршали, шумели, переливались при каждом их движении. Радужными искрами сияли бриллианты в волосах и на обнаженных плечах.

«Ах, ах,— думала Санька, припадая то одним глазом, то другим к прорехе на занавесе,— до чего же авантажно, до чего же распрекрасно!.. И помереть не жалко, нагладевшись на такое...»

И вертела, и крутила головой, чтобы ловчее было глядеть в зрительный зал.

Степан Акимыч еще не полез к себе в суфлерскую дыру. Стоя возле Саньки, он находился сейчас в сильнейшем беспокойстве. То и дело приподнимался на цыпочки и, загородив рот ладонью, шептал ей в ухо:

— Вчерась на репетиции была весьма плоха... Как думаешь, сударушка, ведь плоха была Катенька Семенова?

И Санька думала так же: на вчерашней репетиции Семенова была из рук вон как плоха.

— А заметила ли, Санечка, как ножками затопала? Бог мой, на кого? На Гнедича! На Николая Ивановича! На такую личность, на знаменитейшего сочинителя российского... Ай-яй-яй! А ведь правильно ей указывал в том месте, где она с наперсницей Избраной говорит. Ведь правильно?

— Видела,— сказала Саня.

Все она видела — и как Семенова капризничала, и как гневалась на рябого Гнедича, который то и дело останавливал ее, делая замечания, и как топала на него ногами, как служанку по щекам хлестала, когда та ошиблась, подала ей не ту шаль... Видела, а все равно любовалась, наглядеться не могла на лицо Семеновой, на синие с поволокой глаза, на русую косу, короной уложенную вокруг головы. И шептала, еле шевеля губами (упаси бог, кто услышит!): «Душенька ты моя ненаглядная, голубушка, весь век буду на тебя молиться!..»

А Степан Акимыч все говорил и говорил ей в ухо:

— Какова ноне будет, в сей решающий день? Даже ноги подламываются, как подумаю, что могут освистать... Но сдается мне, Санюшка, на спектакле взыграют в ней подлинные чувства, забудет она все свои причуды и покажет, как надобно играть на сцене истинно русской актрисе! А ты смотри на нее, Санечка, во все глаза смотри. Учись и примечай. Может, придет и твой час...

Обомлела Санька от слов Степана Акимыча. Впервые от него такое услышала. Дыхание перехватило. Оборотя к нему задревшее лицо, прошептала:

— Дедушка, голубчик мой! Да какие же слова сказали? А талант? Ведь талант надобен...

— Правильно заметила, Санечка! Умненько заметила: без таланта в сию обитель и соваться нечего. Одно горе и одна печаль! И с талантом часто не легко приходится. Сколько надобно



сложить к ногам сей прекрасной и требовательной музыки, чтобы пустила в свой дивный храм! Бывает, и душу, и сердце, и всего себя отдаст человек, а все попусту... Нет таланта! Но у тебя, девонька, примечаю, сей божий дар имеется. И в достатке. Глаз у меня наметанный. Сколько всякого люда на сих подмостках перевидал... И тебя, кажись мне, разглядел... Думается, не ошибся. Только труда, труда, труда ведь сколько надобно...

Совсем у Саньки завертелось в голове. Завертелось, закружилось... Будто на качелях она вдруг взлетела прямо в голубое небо — неужто у нее талант? У нее, у простой, неученой девчонки. А потом снова вниз, на землю: нет, быть такого не может, ведь и грамоте она лишь недавно выучилась. Ведь совсем еще дуреха темная. И опять выше столбов качельных, опять к небу. Говорят, и Екатерина Семенова была простой, неграмотной... Ведь выучилась же! Всему выучилась, все постигла. Неужто у нее, у Саньки, не достанет сил тоже всему обучиться? Вот только талант... Да разве дедушка Акимыч зря обнадеживать станет? И снова вниз, к земле: нет, нет, с чего он взял? И верилось, и не верилось. Но больше верилось, потому что уж очень хотелось верить...

— Дедушка, голубчик мой, возможно ли сие? Мне актеркой стать...

За руку его схватила, хотела в глаза заглянуть.

Но мысли Степана Акимыча вроде бы тоже были как бы на качелях. Тоже взлетали вверх и вниз, метались от одного к другому. Вот и сейчас от Санькиного таланта перепрыгнули прямо в зрительный зал, в ложу третьего яруса.

— И Жорж тут! Явилась все-таки. Захотелось узреть провал али успех соперницы. Вон, вон сидит... Да погляди же, Сачечка.

О том, что Жорж в театре, Санька знала еще раньше. Сразу заметила ее. Сидела в той же ложе третьего яруса, из которой прежде Семенова смотрела на французские спектакли. Перед нею лежала охапка красных роз. Она зябко кутала плечи в одну из своих дорогих турецких шалей, расточала улыбки почитателям, которые толпой набились в ложу. Чуть прищулив красивые глаза, иной раз обводила взглядом нарядный многолюдный зал. Наверно, видела, что зрителей собралось не менее, а может, и поболее, чем на ее спектаклях.

О чем думала эта француженка сейчас? А не о том ли (кто знает, может, и о том!), что скоро ее любимый император войдет

в Москву. На коленях она вымолит у Бонапарта прощение за свой побег из Франции в Россию. И он простит ее, не может не простить... Он так восхищался ее игрой! А тогда она будет блистать здесь, в этом театре, в этом зале, такой неслыханной славой, которая и не мерещилась этой русской... как ее?.. Екатерине Семеновой...

Сердце Санькино забилося шибко-шибко, когда князь Тюфякин, нынешний директор театров Москвы и Петербурга, подал знак к началу. Люстра с горящими свечами, хрустально побрякивая сотнями подвесок, убралась под потолок, и в зале стало сумеречно, как поздним вечером.

— Ох, дедушка Акимыч...— начала было Санька, оборотясь к старику, хотела ему еще что-то сказать.

Но того рядом не было. Уже сидел в суфлерской будке, на своем посту. Лицо его, озаренное неярким пламенем свечи, было бледно и сосредоточенно. Перед ним развернутой лежала трагедия Озерова «Дмитрий Донской». Но Санька знала, что в книгу он не заглянет, лишь будет перелистывать страницы, ибо помнит всю пьесу, все пять актов, от словечка до словечка и, суфлируя, не пропустит ни единого, и ни единого не забудет.

С медлительной торжественностью поднялся занавес, открыв шатер великого князя Московского. И спектакль начался...

\* \* \*

Зря тревожились друзья и поклонники за Семенову. На этом знаменательном спектакле была она на высоте своего великого таланта. Прекрасная русская княжна страдала, грустила, готова была пожертвовать собою, своей жизнью, лишь бы спасти от вражеской орды свое отечество, лишь бы не потерять своего любимого.

Зал аплодировал ей как один человек. Из партера, из лож всех ярусов, с райка кричали в конце каждого действия: «Семенова! Bravo Семеновой! Bravo!..» Это была буря рукоплесканий. Венки, цветы сыпались на сцену в изобилии.

Такого подъема патриотических чувств в театре еще не случилось никогда. Давняя победа над полчищами татар на поле Куликовом и грядущие бои с французской армией Наполеона Бонапарта, о которых все более и чаще шли разговоры во всех слоях русского общества, невольно слились в умах и сердцах зрителей воедино. И едва Дмитрий начал свой знаменитый мо-

нолог фразой: «Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный!» — раздались такие восторженные крики, поднялся такой ропот, что, казалось, стены Арбатского театра не выдержат и рухнут.

А Саня весь тот вечер была как в чаду, будто во сне. Смотрела на сцену, и все ей казалось, будто не Семенова — княжна Нижегородская Ксения, а она, Санька. И не Семенова говорит слова любви и нежности князю московскому Дмитрию, а опять же она, Санька. И вовсе шепчет их не Дмитрию, а Федору. Да, Федору! И это Федя, не щадя сил и жизни, дерется с басурманами, защищает от проклятого Бонапарта отечество свое любезное...

В глубокой задумчивости, скорее даже в какой-то ей самой непонятной растерянности была Саня после окончания спектакля.

Талант?..

Теперь-то она словно бы поняла, словно бы уразумела, что это такое... Это когда в твоих силах заставить людей страдать и мучиться. Когда можешь вознести их в рай небесный или бросить в лапы сатаны. Это когда люди боятся пропустить хоть одно твое слово, а слово твое то полыхает жаром, то веет от него могильным холодом. Это когда от тебя глаз не могут отвести, ловят каждое твое движение, радуются твоим радостям, мучаются твоими бедами. Это... Нет, разве только это и есть талант?

Люди добрые, растолкуйте мне, неразумной, что же такое талант, о котором давеча говорил мне дедушка Акимыч?

Санька брела по темному коридору, один конец которого упирался в актерские уборные, другой тянулся к наружным дверям, к выходу из театра.

Лишь одна сальная свеча в старом оловянном канделябре, чадая и мерцая, освещала темноту этого коридора, по которому куда-то торопились люди. И все в одном направлении. И все в одну сторону, по одному пути.

Но Санька ничего не видела и ничего не хотела видеть. Не видела, как, важно шествуя, окруженный свитой чиновников, прошел туда директор императорских театров князь Тюфякин. Не видела и Жорж, которая почти бежала, прижимая к себе охапку красных роз. Не видела и никого другого.

И вдруг словно очнулась. Вздрогнула. Остановилась. Прозрела.

Господи! Они же... Все-таки дождалась, чтобы встретить их обоих вместе. Лицом к лицу!

Лицом к лицу столкнулась она сейчас с Шаховским и Плавильщиковым. Оба, возбужденные до крайности, перекидывались короткими фразами:

— Нет, какова, сударь мой? Талант, к тому же превеликий!

— Богом дарованный, что там говорить...

— И Гнедич не мог испортить.

— Откуда у нее берется чувств такая полнота?

— Да ведь сами говорите, Петр Алексеевич, талант!

И они о том же — о таланте...

Оба поравнялись с Санькой. И тот, и другой. И тучный Шаховской, и Плавильщиков, прихрамывая и тяжело опираясь о палку.

Саня молча посторонилась. Прижалась к стене. Проводила обоих сумрачным взглядом: они скрылись за дверями актерской комнаты Семеновой.

Когда же это было? Давно или всякий день, лишь приходила мыть полы и прибираться в актерских комнатах? С тайной радостью вдыхая дурманный, сладкий запах духов, помады, грима, она мечтала... Зачем душой кривить перед собою? Разве не мечталось сесть самой на кресло перед зеркалом, увидеть отражение своего лица, озаренного колеблющимся пламенем свечей? А потом — уже загримированной и переодетой в какой-нибудь прекраснейший костюм — войти в ту маленькую дверцу, которая ведет на сцену... И за кулисами ждать, волнуясь и трепеща, когда медленно поднимется вверх занавес и она, подойдя к рампе и простерши руки в зрительный зал, скажет первые слова своей роли... Какой? Да в том ли дело, какую роль и в какой пьесе придется ей играть! Пусть весь темный зал, в котором столько людей, пусть все люди, какие находятся в этом темном зале, затаив дыхание слушают и боятся проронить каждое ее слово...

Когда же это было? Когда же муза Мельпомена незримо, но цепко взяла ее в свой сладкий плен? С какого часа, с какой минуты ни о чем ином не мыслит более она, как стать верною служанкой Мельпомены?

Нет, что такое давеча толковал ей дедушка Акимыч про талант? Будто у нее таковой имеется? И в достатке? Смех берет сейчас от этих неразумных дедушкиных слов, после того как она видела Семенову на сцене... Как в голове-то могло такое уло-

житься — напомнить о себе тем именитым господам, Шаховскому и Плавильщикову, увидевшим Семенову в роли Ксении?

Тихонько вздохнув, как была, с непокрытой головой и в одном голубом платишке, какое ей когда-то подарила Анюточкина хозяйка, Санька направилась в тот конец коридора, который упирался в наружную дверь, в один из выходов из театра.

\* \* \*

Падал снег. И все небо было в тучах. Дома на Арбатской площади — да и то ближние — чуть виднелись сквозь снежную пелену.

Сколько времени простояла Санька в галерее между колоннами, окружавшими театр, она и представить себе не могла. Уже больше ни о чем не думала, ни над чем не раздумывала. Не над чем ей было ломать голову... Прищурившись, смотрела, как народ выходит из театра. Как, скрипя колесами по снегу, прямо под крышу галереи въезжают богатые кареты, как, закутанные в рондонды и шубы, в них садятся дамы и господа. А купеческие санки, хотя и щегольские, те останавливались чуть подалее, в галерею между колонн не въезжают, было сие купцам не дозволено. Прстой же народ, вышедший из райка, тот валил по домам пешком.

Потом выскочил Ивашка, внучонок капельдинера при ложах. Крикнул тонким мальчишеским голосом:

— Подать сюда карету мамзель Жорж!

И вышла она сама. В своей тысячной собольей шубе. И почему-то совсем одна. Только та чернявая служанка была при ней, но шла чуть поодаль.

Взглянув на бледное, внезапно постаревшее и осунувшееся лицо актрисы, Санька вдруг поняла, какие горестные чувства бушуют в ее сердце, поняла, что ей, знаменитой и облащенной чужой страной, тоскливо и одиноко здесь и хочется обратно к себе домой, на родину, во Францию.

«И поезжай, и поезжай, кто тебя здесь держит?» — промелькнуло в Санькиной голове.

Что-то резкое крикнув служанке, Жорж села в карету, лакей захлопнул за ней дверцу, лошади рванули, и карета вместе с Жорж исчезла навсегда за плотной снежной пеленой...

А потом вышла из театра Семенова. Да не сама вышла, на руках ее вынесла толпа поклонников, почитателей и друзей. А она,

румяная — до чего же румяная! — смеялась, показывая жемчужные зубки. И все вопрошала Гнедича, который суетился тут же:

— Мой друг, вы больше не в обиде? Нет, скажите, не в обиде на меня?

А он, стараясь поймать и поцеловать её руку, твердил:

— O, ma belle, quelle fureur, mais quelle fureur!

А она уже другому, неведомому Саньке:

— Так был к лицу мне кокошник с самоцветами?

— Вы были прекрасны, Екатерина Семеновна, — почтительно склоняя голову, ответил тот.

Она смеялась, радовалась, как дитя, и все прижимала к груди охапку красных роз, тех самых, которые принесла ей после спектакля Жорж. Видно, цветы эти были ей дороже всех букетов, какие получила она в тот вечер.

И к Сане донесся от тех не виданных никогда прежде алых цветов сладкий запах, взявший в плен ее на всю жизнь...

Потом она осталась одна. Вышла из галереи на площадь. Подняла к небу лицо. Снежинки падали все реже и реже. Словно надоело им слетать с небес на землю. Арбатский театр стоял теперь тихий, замороженный и этой снежной ночью, и тишиной.

Из темноты услышала знакомый голос:

— Александра Лукинишна...

Узнала. Не удивилась.

— Алексашка, ты?

Он был все в той же старой кофте. Дрожал, чуть лязгая зубами.

Санька накинулась было на него:

— Да что ж тебе дома не сидится? В тепле? В эдакий снегопад сюда припер, ночью...

И осеклась. Может, парнишке вовсе некуда деваться. Ни дома нет, ни тепла. Алексашка невесело ей усмехнулся:

— А сами-то? Небось тоже раздевши вышли... — И, перебив себя, холодно и деловито отчеканил: — Тут Федька вас ожидает, Александра Лукинишна. Коли не против, дам знак ему, пусть идет.

Сердце Санькино словно перевернулось вверх тормашками. И она сама, и театр, и Арбатская площадь, и дома вокруг — все закувыркалось. Щеки запылали. Переспросила жарким шепотом:

— Не врешь?

Вдруг Алексашка выкрикнул злым, срывающимся голосом:

— Одурели с радости, что ли? Никакого в вас понятия не стало, Александра Лукинишна...

А из-за угла, где хоронился до сей минуты, уже вышел Федя. Шел медленно, словно боялся ее, словно не верил ей, словно не знал еще, как встретит.

Санька рывком кинулась к нему. Потом остановилась. И снова кинулась. И опять остановилась. Крикнула:

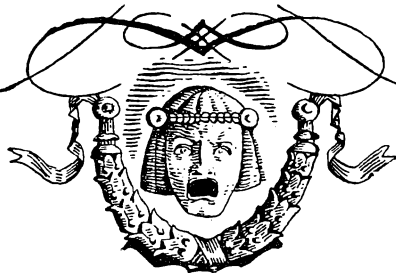
— Федя... все равно буду актеркой! Не могу по-другому...

Он молча шел, ничего не говоря, будто не слышал ее слов или не хотел их слышать... Или было ему все равно, кем станет Саня, лишь бы навсегда им быть вместе.

Вдруг тучи раздвинулись. Из-за них вынырнула та самая хвостатая звезда. Комета! И, задрав вверх свой прозрачный хвост, стояла в небе непонятная и торжествующая...

Что пророчила она, в этот час сияя в зимнем небе? И этим двум? И в белые снега укутанному театру? И Алексашке, который, дрожа от холода, шел сейчас по темным арбатским переулкам? И тому в треугольной шляпе, кто, взлелеяв замыслы свои, уже видел себя владыкою Москвы?

**ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ**

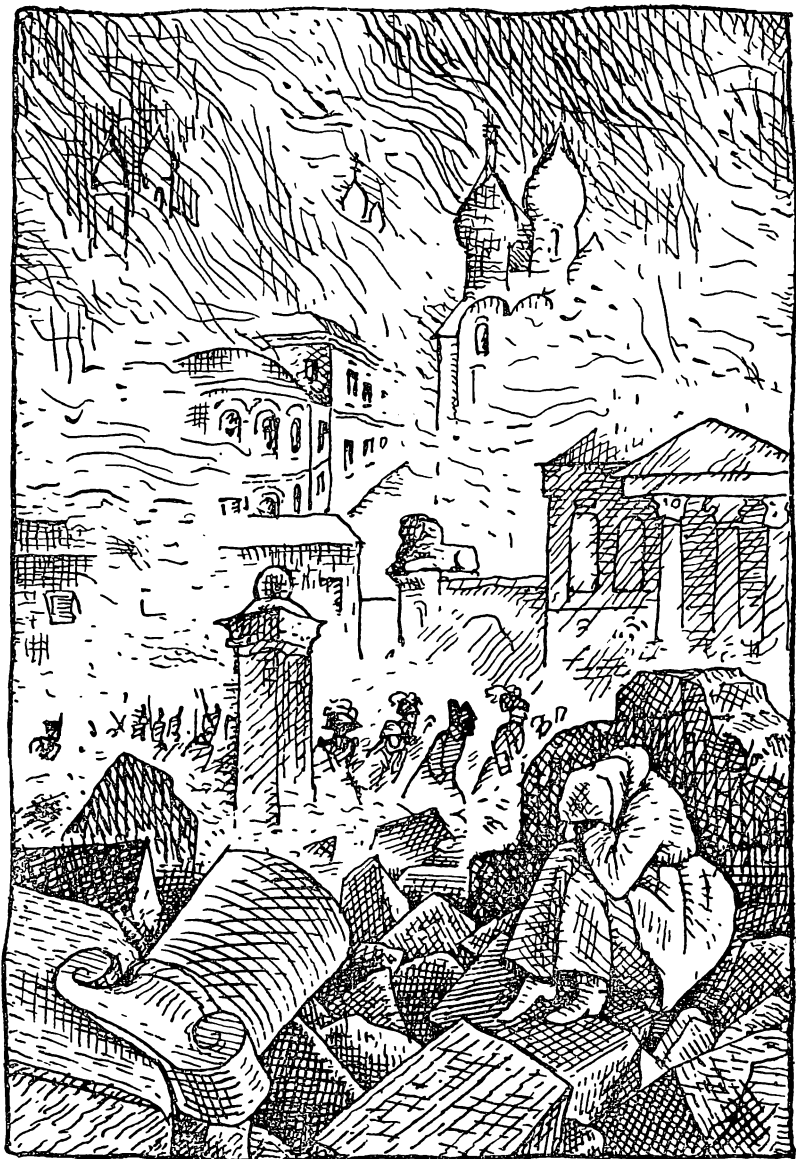


**КОНЕЦ**

**АРБАТСКОГО**

**ТЕАТРА**







## В КОТОРОЙ МОСКВА УЗНАЕТ, ЧТО ВОЙНА НАЧАЛАСЬ

Наполеон, окруженный блестящей свитой генералов, адъютантов, пажей, в дорожной карете, запряженной шестеркой коней, мчался на восток. К тому месту, где французская армия, повинаясь его приказу, должна была перейти границу и вторгнуться в пределы России.

11 июня он подъехал к Неману. Осмотрев место переправы, одобрил его и приказал на следующий же день начать вторжение своих войск на русскую землю.

Приказ был выполнен, и 12 июня 1812 года война началась.

Рано поутру Наполеон вышел из своей походной палатки, которая раскинулась на левом крутом берегу, и, приложив к глазу зрительную трубу, стал наблюдать, как его войска переходят на правый берег по трем наведенным через реку мостам. Мосты эти, лежавшие на лодках, покачивались под ногами сотен, тысяч, десятков тысяч солдатских ног. И вереницы солдат, шагавших по этим шатким мостам, тоже все время слегка покачивались.

Солнце еще не поднялось, и трава не блестела той яркой влажной зеленью, какая бывает после обильной ночной росы. Луга, далеко видимые с крутого берега, сейчас были как бы устланы низким сизым туманом. И такая тишина, такое безмолвие царило в этот ранний утренний час, что, казалось, никто и ничто не сможет нарушить ни этой тишины, ни этого безмолвия.

Но война началась. Та война, о возможности которой говорилось много месяцев подряд, но в которую не хотели верить миллионы людей.

В тот самый день, когда передовые войска Наполеона перешли Неман и вторглись на русскую землю, император Александр проводил время на одном из пышных приемов, устроенном в поместье графа Беннигсена. Известие о переходе неприятельских войск через Неман застало его почти врасплох, хотя именно ожидание войны привело Александра со всей свитой в Вильно, поближе к границам России.

В тот же день Наполеону было направлено послание, в котором говорилось, что еще не поздно избавить человечество от бедствий новой войны, стоит лишь отвести все французские войска обратно за Неман. Послание это, однако, осталось без ответа.

И тогда был отдан приказ русским войскам о том, что мира не будет до тех пор, пока хоть один вооруженный француз останется на русской земле.

И война началась.

Началось то, что принесло неисчислимые бедствия земле русской и русскому народу, завершившись великой славой России.

Началось то, что закончилось разгромом и позором французской армии и падением великой славы самого Наполеона.

Если бы этот человек, стоящий сейчас на крутом берегу Немана, с удовлетворением разглядывающий, как всё новые и новые полки вторгаются в пределы чужой страны, мог предугадать, какое поражение ждет эти полки и все его войско спустя лишь полгода, с какой поспешностью отдал бы он приказ генералам и адъютантам, всему своему штабу, сейчас же, немедленно вернуть эти полки обратно, чтобы ни один французский солдат не остался на русской земле!..

Но, упоенный победами, он и не пытался себе этого представить. И французские войска тремя непрерывными потоками вливались за границы чужой страны.

А Москва пока еще не знала да и не могла знать о начале войны. В Москве жизнь шла своим чередом. Правда, из уст в уста передавалось известие, что все офицеры вызваны в свои полки. Все знали, что царь покинул Петербург и более месяца находится в Вильно при армии Барклая де Толли, делая смотры и маневры войскам.

Тот день, когда война для Москвы вдруг стала явью и слухи перестали быть только слухами, этот день для Сани и для всех москвичей начался безмятежным благополучием.

По всей Москве перезванивались колокола. Слышнее всех благовестили с Ивана Великого. Но и с колокольни Зачатьевского монастыря, и с новодевичьей звонницы тоже доносился звон колоколов.

Анюточка примчалась с утра. Санька ее ждала. Еще раньше сговорились сходить на гулянье — то ли в Нескучный, то ли на Девичье поле.

По своей всегдашней привычке, наотмашь распахнув дверь, Анюточка остановилась на пороге. А пускай их, дедушка да Сашенька, полюбуются на ее кисейное в розочках платьице да на круто завитые кудряшки! Хороша? А то нет!

И тут же затараторила:

— Сашенька, душечка, ты что ж? Неприбранная еще?

Степан Акимыч так и засветился улыбкой.

— Ангельчик мой! Вот ведь ко времени пришла... А мы сейчас судили да рядили про одно важнейшее дело. Садись, садись, дитятко! Два ума хороши, а третий никогда не помешает!

— Ах, дедушка, да зачем же мне садиться, коли я пришла за Сашенькой? Сашенька, душечка моя, слушай, чего разведала...

И, мешая русскую речь с французскими словечками, то в нос, то картавя, Анюта принялась рассказывать, что нынче в Нескучном саду будут разыгрывать воинственную пантомиму про баталию генерала Мальборука. И еще будут скачки и волтижировка. А скакать будет госпожа Киарини, равной которой нет в искусстве волтижировать на лошади.

— Может, лучше на Девичье поле сходим? — перебила ее Санька. У нее-то был свой расчет — с Федором сговорилась там встретиться.

— А туда своим чередом! — У Анюты лукаво сверкнули глаза. — Знаю, знаю, кто там будет... Да ты чего хмуришься? Ну станут показывать монстров о трех руках да черных-пречерных гуронских дикарей.

Потом, покружившись, вскричала:

— А мой туалетец почему не хвалишь?

Степан Акимыч тотчас потускнел и насупился. Строго спросил:

— Откуда у тебя сей наряд, Анюта? Говори. И без утайки. Анюта надула губки.

— Всегда вы так, дедушка! Откуда да откуда... Известное дело, откуда — мамзель Луиза подарили! — И, взявшись пальцами за края юбки и растянув эту юбку сколь возможно шире, спросила у Сани: — Весь вечер штопала. Незаметно? Нет, Сашенька, ты ответствуй... Сперва погляди с пристрастием, а уж потом ответствуй: заметно али незаметно, что подштопала?

И снова вихрем закружилась перед Санькиными глазами. Да тут разве чего углядишь? Да хоть и штопка, а все одно — загляденье туалетец! Спросила:

— У мадамы Шальме брали?

— И сказать не могу тебе, Сашенька, до чего я люблю свою мамзель Луизу! Как мать родную...

Уж лучше бы Анюте не говорить этих слов.

Степан Акимыч подскочил, будто его гадюка ужалила: как смеет Анюта в мыслях держать такие чувства про чужеземку-француженку?

— Да возможно ли сие? Злодей, изверг человечества Бонапарт задумал невесть что против нас, а она... «люблю, как мать родную»!

До того разбушевался Степан Акимыч, что даже Анюта с великим трудом смогла его успокоить. И на шею ему кидалась, и миловала, и целовала, и разными словцами улещивала — это она умела. И наконец — хитрая девчонка! — давай спрашивать, о чем это они с Сашенькой судили и рядили, о каком таком важном деле вели разговоры перед ее приходом?

И беседа их сразу приняла другой оборот.

Пожалуй, это и было последним счастливым утром, какое они провели втроем, еще не помышляя о бедах и невзгодах, которые были не за горами и разлучили их навсегда.

— Ангельчик мой, — воскликнул Степан Акимыч, тут же засветившись доброй улыбкой, — мы раздумывали о том с сударушкой: какую роль готовить к экзамену...

Анюта удивилась: к экзамену? К какому такому экзамену? О таком она и слыхом не слыхивала! Что это дедушка придумал?

Тут уж Саня, покраснев и смущаясь, рассказала, что вчера, мол, дедушка побывал в Театральной школе на Солянке. Да, да, в той, что при воспитательном доме. И ему там сказали...

— Был, был, Анюточка! — подтвердил Степан Акимыч. — А уж как меня приняли — со всем высоким и благородным уважением! Знакомых ведь тьма. Иным суфлировал, с иными сам подвизался на подмостках в молодые годы...

И дальше стал рассказывать, что через месяц или через два велено было ему с Санечкой явиться в школу, и коли найдут у Санечки талант (а таковой имеется, в том сомнений нет!), то примут ее воспитанницей сей школы... А разговор у них был такой: какую же роль готовить им к экзамену? Корделию из «Короля Лира» английского сочинителя Шекспира? Или из «Модной лавки» своего русского сочинителя Ивана Андреевича Крылова? Или, может, лучше Ксению, которую с таким бесподобством играла Катенька Семенова?

Анюточка с минуту подумала, потом тряхнула льяными своими кудряшками и, засмеявшись, воскликнула:

— Да раздумывать-то зачем? И то, и другое, и третье готовьте! Все разные амплуа. В какой роли Сашенька будет лучше, то пусть и покажет на экзамене...

Ответ этот привел Степана Акимовича в самое превосходное расположение духа:

— Знал ведь, что у этого дитяти ума палата!

А время шло, и Анюта стала поторапливать Саню, чтобы та поскорее собиралась, а то не успеют они побывать и там и сям...

— За мной дело-то не станет!..

Санька вмиг переплела косу и переоделась.

Обе девочки поглядели друг на друга, полюбовались одна на другую, поахали, повертелись и, взявшись за руки, побежали по Арбату, а там — по Плющихе, а дальше — прямо на Девичье поле, где в тот день были и балаганы, и карусели, где показывали монстров о трех руках и чернолицых гуронских дикарей и где, по Саниным расчетам, уже должен был ждать их Федор.

А с Федором после того снежного февральского вечера они встречались чуть ли не всякий день. Снова стал он приходить за кулисы и торговать сбитнем. Как только появится со своими бакалагами и кружками, Саня тут как тут: «Давай помогу тебе!» Улыбнется ей в ответ: «Помоги...» И начнет Саня актеров зазывать своим звонким, ясным голосом: «А вот тут сбитень, медовый, имбирный, сладкий-пресладкий, лучше не бывает!..» Федор кружки наливает, деньги получает, в карман медяки опускает, а Саня стоит рядом и глядит на него и наглядеться не может. А он

между делом покосится на нее, чуть усмехнется и ласково спросит: «Ты чего уставилась? Может, чего новое узрела! Не таись, скажи...» Покраснеет Саня, смущенно улыбнется, но глаз не ответит. И от улыбки этой на порозовевших щеках лишь засияют ямочки. И от этих своих ямочек и от застенчивой улыбки станет еще краше и милее.

А как начнется спектакль, Федя уже не идет ни в какой раек. Тут остается, на сцене. И рядышком стоят они в уголке все за той же левой кулисой. И вместе глядят на спектакль, и вместе судят-рядят про игру актеров.

И все чаще и чаще удивляется Федор суждениям Сани. Поди ж ты — ведь недавно, в тот день, когда привел ее первый раз в раек, была темной-претемной по этой части, ничего не соображала, а теперь...

Степан же Акимыч, давно заметив красивого сбитенщика и Санькины глаза, когда она глядела на парня, лишнего слова о сем предмете ей не задал. Сама Саня завела с ним разговор про Федора. Спросила однажды вечером:

— Дедушка, нравится он вам?

— Тебе был бы по сердцу, сударушка, — ответил Степан Акимыч. — А я что?

— Нет, дедушка, вы мне как на духу скажите: хороший он, добрый, пригожий?

— Что так, то так — пригожий парень! Весьма пригожий... А хорош ли? Ведь надобно с человеком не один пуд соли съесть, чтобы понять, какое у него нутро.

— А вам он по душе, дедушка?

И от этого ответа уклонился Степан Акимыч.

— И опять же, сударушка, и на это ничего не скажу. Словом с ним не перемолвился, как же могу судить, по душе ли мне человек али нет... Ты покумекай сама!

Саня в долгой задумчивости смотрела на Степана Акимыча, пока не сказала:

— А вы ему, дедушка, очень по душе пришлись... И решили мы между собой: как обвенчаемся, просить вас, дедушка, коли будет угодно вашей милости, не покидать нас, а жить в нашем доме.

От этих Санькиных слов Степана Акимыча даже в слезы ки-нуло.

— Сударушка ты моя, сударушка! Да кто я тебе такой, чтобы тебе о том меня просить?

— Роднее всех родных, вот вы кто мне, бабушка!..

А Степан Акимыч помолчал, вздохнул и грустно улыбнулся:

— Не он ведь сие надумал, не его голова, а ты, Санечка, твое доброе сердце.

Саня изумилась прозорливости Акимыча, потому что не Федор, а именно она про то ему сказала, и сказала твердо и непреклонно, Федор же лишь чуть-чуть кивнул в ответ.

Но сейчас, услышав слова Степана Акимыча, она кинулась к нему и вскричала горячо и страстно:

— Вместе, вместе так надумали, бабушка миленький! Одинокое мыслим...

В тот же вечер рассказала Саня обо всем Степану Акимычу. Нет, не теперь, не в скором времени хотят они венчаться. Теперь об этом и говорить нечего. А вот недавно хозяин Федора купил второй дом — очень он богатый, Федоров хозяин, — и желает еще одну лавку открыть. А в той новой лавке, ежели Федор ему потрафит, хочет он Федора приказчиком поставить. Потому, не сомневается хозяин в честности Федора, в умении вести торговлю.

Она же, Саня, пока Федор будет на ноги становиться, она тем временем...

Нет, об этом Саня ничего не сказала. Об этом Степан Акимыч знал куда лучше, нежели она сама.

— А коли желательно вам, бабушка, — сказала Саня напоследок, — с Федей словом перемолвиться, за чем же дело стало? Завтра приведу к вам — и перемолвитесь!

Никогда не была так счастлива Саня, как в ту весну и в то лето...

А в тот памятный для всех день, когда они с Анютой, взявшись за руки, веселые и бездумные, бежали на Девичье поле, Санька потихоньку, чтобы Анюта не заметила, искала глазами Федора: а вдруг где-нибудь за углом, в переулке их поджидает? Анюточка хоть и незаметно, а посмеивалась: видела Саньку насквозь! И как она головой вертит, и глазами крутит, и отвечает невпопад, и сама не своя. Наконец не выдержала. Смехом залилась:

— Да он там, твой Федор, возле каруселей...

Саня вспыхнула, ответить не нашлась.

— Ждет, ждет тебя на том самом, на Девичьем поле. Думаешь, не знаю, почему тебя потянуло на гуронских дикарей смотреть?



Саня еще сильнее покраснела и вдруг рукой приостановила Анюту. Прошептала:

— Постоим маленько, пропустим их...

С тех пор как покинула отчий дом, ни разу не видела она сестриц своих Марфушу и Любашу. А с мачехой Степанидой после того случая в переулке тем более не приходилось встретиться. Сейчас шли они, видно, туда же, на гулянье.

Любаша и Марфуша в шелках разнаряженные, с атласными шальями на плечах, почитай, на каждой щеке у них по полфунту белил, а поверх белил еще румян на вершок положено. А брови до того насурьмили, что и не догадаешься, есть свои али их вовсе не имеется!

Анюта фыркнула:

— Ну и чучелки! Индюшки жирные... Сроду таких не видела!

«Неужто женихи не сыскались? — подумала Саня.— Видно, все еще в девках сидят...»

За Марфушей и Любашей, глаз с них не спуская, шли мачеха и сваха Домнушка. Донеслось:

— Уж ты постарайся, Домнушка! В убытке не останешься...

— Рази я не стараюсь, мать моя? Больно переборчивы...

— А ты погляди, как плывут... Ведь лебедушки!

— Истинно лебедушки... Только ведь и женишок, тот давешний, был не промах, а?

Прошли мимо. Дай бог им счастья, сестрицам-то... Нет на них зла в Санькином сердце. И на мачеху камня за пазухой не держит. Пусть живут, пусть толстеют, пусть женихов перебирают, ей, Саньке, все это ни к чему. Даже не верится, что из-за них ведра слез пролиты. Только вот батюшку Луку жаль. Небось совсем отошлал возле этих пиявиц. И она-то хороша! Как ушла из дому, и не пыталась отца повидать. А ведь почти год прошел с того дня... Неужто год? Никуда не денешься, без малого, а прошел...

Эх, Санька, Санька, и не совестно тебе?

И тут же дала себе Саня зарок: завтра же утром отыщет отца и повинится перед ним за свою неблагодарность. А может, и он будет радоваться встрече? Будет, будет! Ведь растил ее, дуру неблагодарную, с малых лет. И разве видела худое от него?

Вдруг Анюта крикнула:

— Сашенька, глянь, твой Федюха! Вон же он...

А Федор их заметил раньше, чем они его увидели. И шел к ним. Принарядился. Поддевка на нем синяя, щегольская, сапоги новые. Ох, и красив!

Но шел он к ним не улыбаясь, а подошел — не поздоровался. Санька испуганно вскрикнула:

— Федя... Случилось что?

А он тихо, не глядя ей в глаза, а куда-то поверх ее головы, прищурившись, сказал:

— Война, Саня... С французами.

— Да с чего ты взял? — было накинута на него Анюта. И вдруг заплакала.

— Напечатано, — сказал Федор. — Не с потолка придумал.

15 июня, спустя три дня после вторжения армии Наполеона в пределы России, в «Московских ведомостях» был впервые напечатан высочайший рескрипт о том, что война России с Францией началась.

И никуда они не пошли — ни в Нескучный, ни на Девичье поле. Не до гулянья было. Повернули обратно. Почти бегом бежали. И Федор с ними.

А над Москвой уже неся тяжелый колокольный звон. И не был сейчас этот звон ни благодетным, ни спокойным. Набатно гудели большие колокола. И все другие, даже самые мелкие подголоски, перезванивались быстро и тревожно.

И плыл этот звон над Москвой со всех четырех сторон — с Тверской и из-за Москворечья, с Маросейки и с Поклонной горы, с Варварки, из Симонова и Андроньевского монастырей, с Якиманки и из Китай-города, с Басманных улиц, с колокольни Ивана Великого и из всех кремлевских храмов...

Степана Акимыча они увидели на Арбатской площади, возле театральной колоннады. Был он там не один. Хотя в тот день никаких репетиций не предвиделось, у театра собралась почти вся русская труппа. Были здесь и Лизонька Сандунова, и Воробьева, и Мочалов, и Урасов, и знаменитый тансер Глушковский, и многие тансерки, фигуранты и музыканты. Прибежали и танцмейстер Аблец с капельмейстером Керуелли. Подходили все новые и новые. И у всех один тревожный вопрос: неужели война? Началась? С французами?

Степан Акимыч был бледен, но сказал тихо и строго:

— Ничего не бойтесь. Нашла туча, да мы ее отбудем...

## ГЛАВА ВТОРАЯ,

### В КОТОРОЙ ФЕДОР ПРОЩАЕТСЯ С САНЕЙ

С первых чисел июля в Москву стали приходить все более и более тревожные слухи. И слухи эти, подтверждаясь и перестав быть слухами, становились грозной действительностью. Армия Наполеона неуклонно продвигалась в глубь России. В руках французов были не только Вильно, Минск, Несвиж, Полоцк и многие другие города. Но к середине июля были заняты Могилев и Витебск. Французская армия была на пути к Смоленску.

Анюта теперь чуть ли не каждый день прибегала к дедушке. И всякий раз со слезами. Очень жалела свою барыню, Луизу Мюзиль. Мало того, что в театре больше не идут французские спектакли, и на улицу-то бедняжка боится выглянуть. А коли выйдет, сразу немеет. Рот не смеет открыть, французских слов страшится. А что ей делать, ежели по-иному не умеет? Все только по-французски да по-французски язык приучен...

— Нет, дедушка, что ей делать? — вопрошала Анюточка, и голубые глаза ее наливались слезами.

Степан Акимыч слушал молча. Хмурился. Но один раз все же высказался:

— А чего тебе желательно, Анна? Не лобызаться же нам с французами, коли изверг Бонапарт на нас войной пошел?

Санька обомлела: о господи, ведь так и вымолвил — Анна... И не ангельчик, и не дитяtko, а просто — Анна! Как же он так?

Анюта на секунду дар речи потеряла. Слезы высохли. Не глядя на дедушку, тихо повторила:

— Что же ей делать?

Степан Акимыч вскочил с ветхого атласного креслица. Быстрыми шажками забегал по каморке, то и дело исподлобья взглядывая на внучку. Вроде бы и сам был не рад своей суровости, может, и понимал, что пересаливает, но сейчас по-иному не мог.

— Что твоей мамзель-французенке делать, мне неизвестно. И голову о том ломать не желаю! А что тебе делать, сие твердо знаю...

Анюта вскинула на него глаза.

— Сюда перебирайся, вот тебе мой сказ. В сей тяжкий час нам всем троим надобно быть вместе. А твоя госпожа-мамзель как-никак...

Не слова удивили Саню, но какая лютая ненависть была в голосе дедушки Акимыча. Анюточка же вскочила как ошпаренная. Метнулась было к двери, потом приостановилась. Хотела что-то сказать дедушке, но лишь посмотрела на него долгим укоризненным взглядом. И снова к двери.

Степан Акимыч тут опомнился. Кинулся за ней. И Санька тоже. И все трое, обнявшись, заплакали. Всклипывая, Анюта лепетала:

— Как же ты, дедушка? Такой добрый, а какие слова сказал... Как же ее в беде кинуть? Ты посуди, дедушка... И ты, Сашенька... Вы ведь ничего не знаете, а вчера Фекла ходила на базар...

И Анюта принялась рассказывать, что слыхала на базаре кухарка Фекла. А слыхала она от знающих людей: будто некий портной подговорил еще триста других портных да с подмастерьями ночью перебить всех французов на Кузнецком мосту. Будто все французы, не только которые держат модные лавки и разные кофейные заведения, а все, какие в Москве проживают, Бонапарты шпионы. А первая среди них — та самая мадам Обер-Шальме, у которой самая лучшая лавка на Кузнецком. И будто через их помощь и захватит Бонапарт Москву...

Степан Акимыч совсем взъярился. Пуше прежнего забегал по каморке. Руками принялся размахивать.

— Вздор, вздор, вздор сие, мой ангельчик! Всё бабьи толки... И слушать не желаю необразованную глупую бабу... Все один вздор! Да кто же французов в Москву пустит? Да как такое можно в уме держать? Ведь какая победа одержана при Кобрине и при Клястицах! Ведь чуть ли не тысячу врагов отечества взято нами в плен! А сколько безгласных трупов осталось на поле брани?.. А ты, душенька, кухарку Феклу слушаешь, да еще из-за вздорных ее слов проливаешь слезы... Лучше ты послушай, какие слова написал в своей афишке наш московский главнокомандующий, их сиятельство граф Ростопчин. Дай бог ему многие лета! Послушай, Анюточка. И ты, Санечка... Слушайте, деточки, прилежно!

И Степан Акимыч достал несколько листков, в которых Ростопчин, назначенный с первых дней войны московским главнокомандующим, печатал свои обращения к москвичам. Листки эти разносились по многим барским домам на манер театральных афишек и потому среди населения Москвы стали известны под названием «Ростопчинских афиш».

Грозно подняв вверх свою сухонькую стариковскую руку, Степан Акимыч начал громогласно:

— «Я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет...» Слова-то какие! Какие слова: я жизнью отвечаю! То-то же...

А потом Степан Акимыч и вовсе развеселил девчонок, прочел им еще одну афишку Ростопчина. В этой афишке московский мещанин Карпушка, подтрунивая над французами, говорил, что они от капусты раздуются, от каши перелопаются, от щей задохнутся, что все французы — карлики и что их троих одна баба вилами заколет...

Девчонки смеялись до упаду, а глядя на них, радовался и сам Степан Акимыч.

Еще он под великим секретом сообщил, что нынче в театре ожидается великое торжество по причине побед при Кобрине и при Клястицах.

— Отменяют комедию Крылова «Модная лавка», а будет представлена опера «Старинные святки». Покажут публике лубезную старину Москвы белокаменной, жите-бытье славных бояр русских и святошные забавы, какими тешили себя в давние времена... Теперь уж точно — не видать врагам Москвы. Так-то, мои хорошие!

\* \* \*

А для Сани тот вечер и вовсе стал знаменательным.

Лизавета Семеновна Сандунова, певица, любимая всей московской публикой, которую никто иначе и не величал, как Лизонька Сандунова, в тот вечер пела в опере главную партию боярыни Натальи. И, как выяснилось, именно ей поручили после первого акта оперы исполнить величание.

Заметив Саньку (а Санька как раз пробегала мимо актерских комнат, чтобы пораньше занять место за кулисой, где должен был уже находиться и Федор), она ее остановила:

— Чего ты без толку мечешься? Имеется у тебя сарафан?

— А как же! — бойко ответила Санька.

Не то чтобы она была сильно знакома с Лизаветой Семеновной, а все-таки... Не раз Лизавета Семеновна посылала ее то за одним, то за другим. А однажды приказала снести домой короб с костюмом, горничная девка у нее занемогла. Короче говоря, Сандунова хорошо знала Саньку, внучку суфлера Акимыча.

— И коса у тебя подходящая, — между тем продолжала Ли-

завета Семеновна, с пристрастием разглядывая Саньку.— Святошные песни знаешь?

— А кто их не знает? Все девушки у нас в околоте знают. Без этого нельзя... Я всякие могу петь...

— И я так думаю. Иди-ка наряжайся в сарафан — да ко мне. Нарумяню тебя, набелю. Нынче две девчонки из театральной школы занемогли... Женских голосов маловато. Будешь в хоре петь.

— Матушка Лизавета Семеновна!..— выкрикнула Санька и руками замахала: мол, да как вам на ум пришло такое непутевое?

Но Сандунова была женщина с характером, к тому же свое-нравна до крайности. В театре же чувствовала себя полной хозяйкой — что задумает, тому и быть. Ни капельмейстер, ни хормейстер спорить с ней не брались. Даже сам Аполлон Александрович Майков пасовал перед Лизонькой Сандуновой. Могла ли Санька ей перечить?

И Саня бегом-бегом в каморку — да скорей доставать сарафан. Да скорее переплестать косу. Да скорей-скорей обратно к Лизавете Семеновне, которая уже находилась в театральной уборной и облачалась в малиновую душегрею, отороченную соболем.

Посмотрела на Саньку, приказала:

— Снимай платок да садись перед зеркалом. Тут садись, вот бестолочь деревенская!

О господи, вот чего не думала, вот о чем не гадала и вот что свершилось!..

Санька смотрела в зеркало на свое отражение, и верилось ей и не верилось, что это точно она — Санька. А Лизавета Семеновна тем временем около хлопотала: белила ее, румянила ее, брови начерно сурьмила. И вскорости из зеркала глядела на Саньку уж точно не Санька, а какая-то новая девчонка — белая, румяная, чернобровая — ничуть не похожая на прежнюю, смуглую. И вроде бы не очень нравилось этой новой девчонке, что ее так лихо накрасили, но рта раскрыть, слова сказать об этом не смела. Уж кому-кому, а Лизавете Семеновне против сказать язык не повернется...

А Сандунова, поглядывая в зеркало на раскрашенную Саньку, говорила:

— Пой смело, громко, ничего не бойся...

— А я и не стану бояться,— шепотом отвечала Саня, а у самой мелкой дрожью все поджилки тряслись: что дедушка Аки-

мыч скажет, когда увидит ее, Саньку, на сцене да без его спроса? А Федор? Как поглядит на такую, на раскрашенную? А уж о том, как будет петь, об этом не думала. Вроде бы сейчас было ей не до того.

— Теперь пройдишь,— сказала Лизавета Семеновна, любясь на дело рук своих.— Да не так, не так, дуреха! Лебедушкой плыви...

Санька фыркнула, локтем заслонилась — вспомнила мачеху и сестриц, Марфушу с Любашей. Посмотрела бы Лизавета Семеновна на них, сказала бы — вот плывут гусыни жирные!

А Сандунова, поглядывая на Саню, говорила вроде бы самой себе, однако же вполне слышно:

— Хороша... Ничего не скажешь. Вот только платок не годится.

— Чем же плох? — Санька обиделась.— Атласный! Вы пощупайте, Лизавета Семеновна, ведь чистый атлас...

Но Сандунова из пестрого вороха театральных костюмов, которые лежали на стульях, выдернула другой платок. Этот другой был расписной. С узорами. Лазоревый. Красоты неописуемой!

Подала Саньке:

— Этот прикинь...

У Саньки дыхание перехватило: надо же! Накинула на голову, покосилась на себя в зеркало. Ах, ах... Саня, ты ли это?

А Сандунова ей:

— Не годится. Снимай. Тот алый тебе лучше.

Санька чуть не в слезы:

— Лизавета Семеновна, раз в жизни... Позвольте! Не зама-  
раю, истинный бог!

Сандунова засмеялась. Однако же лазоревый платок Саньке оставила. Приказала:

— Какие песни знаешь, пой громко. А какие не знаешь, рта не раскрывай. Поняла?

Санька покивала осторожно, чтобы белила с румянами не облупились, не осыпались бы со щек.

Тут в зрительном зале зазвонил звонок. Лизавета Семеновна прикрикнула:

— Выметайся, нечего тебе тут делать...— выставила девчонку за дверь и спешно стала гримироваться и наряжаться.

В этой опере она особо щеголяла пением в куплетах «Слава богу на небе...». Эти куплеты непременно бисировала, и на сцену к ее ногам летели кошельки с золотыми червонцами.

А Саня в тот вечер была словно в чаду, как чумная. Но старалась изо всех сил. Иной раз ей казалось, что ее голос слышнее всех голосов в хоре, что только ее, голосистую, и слушает вся публика в зрительном зале. Слушает и дивуется: этаким жаворонком кто же разливается?

Опомнилась она лишь к концу первого акта, когда Сандунова, приблизившись к рампе, при полном хоре, с трубами и литаврами, провозгласила величание. Сперва, как оно и полагается, спела самому царю-батюшке, их царскому величеству Александру Павловичу.

А уж потом и всем защитникам отечества.

— «Слава храброму генералу Тормосову, поразившему силы вражеские!» — пела Сандунова.

А хор подхватывал:

— «Слава! Слава! Слава!»

И гремели литавры, и звенели трубы, и Санька вместе со всеми выпевала:

— «Слава! Слава! Слава!»

А когда спели: «Слава храброму генералу Кульневу, умершему за отечество...», тут Лизавета Семеновна залилась слезами, и весь хор заплакал, и вся публика стала плакать. И Саньке тоже хотелось, да боялась она: а ну как растекутся румяна да белила по щекам? Сраму не оберешься...

Величание повторили несколько раз, потому что публика кричала «Фор! Фор!», топала ногами и била в ладоши...

Но что самое удивительное было для Саньки в этот вечер — дедушка Акимыч ее не признал. Вот так и не признал!.. Хоть стояла она совсем рядом, хоть глядел он прямо ей в глаза, а узнать не узнал. Смехота! Потом, уже после спектакля, когда Саня с помощью других хористок сняла с лица краску и подошла к нему, Степан Акимыч строго спросил:

— Где ж ты пропадала, сударушка? Эдакое упустила, не видела...

Ну и посмеялись же они, когда Саня ему рассказала, что пела в хоре, что стояла с ним рядом, а он глядел на нее во все глаза да и не признал... Старик только головой мотал, приговаривая: «Ну-ну...» А был весьма доволен, что Лизонька Сандунова самолично гримировала Саню и своим напутствием впервые послала ее на сцену.

А Федора в тот вечер почему-то вовсе в театре не было. И сбитнем не торговал, и за кулисами тоже не стоял.



Было уже совсем поздно, и Саня хотела было раздеваться да укладываться на боковую, как вдруг в оконце брякнул камешек. Неужели Федя?

А между ними еще раньше было договорено: если ему надобно Саню увидеть, пусть кинет в стекло махонький камень.

Хорошо, что дедушка давно спал и помехой не был. А то ведь стал бы выпытывать, зачем, да почему, да отчего.

Все-таки Саня сперва подождала: может, и не Федор, а случайный камешек ударил по стеклу?

Но стук повторился, и тогда Саня более не стала раздумывать, накинула на голову платок и выскочила на зов. Обычно она радовалась, когда Федя звал ее, когда кидал камешки в оконце, а сейчас встревожилась. Сердце ёкнуло: и сбитнем нынче не торговал, и в такой поздний час? Не случилось ли чего?

На улице была темнотища, ни зги не видно. А звезд на небе — тьма. Прямо перед Санькиными глазами наискось через Арбатскую площадь скатилась светленькая звездочка. Саня перекрестилась: чью-то душу господь бог взял к себе...

Услышала шепот:

— Саня!

Из-за колонны к ней вышел Федор. И хоть ясно его видела, почему-то спросила тоже шепотом:

— Где ты, Федя?

Он подошел к ней и сразу, вроде бы наотмашь ударив, сказал:

— Уезжаю, Саня...

Санька похолодела. Сердце громко забухало...

— Насилу вырвался... Ты почему молчишь?

А сам не дал ей слова сказать, принялся объяснять:

— С хозяйским добром в Ярославль еду. И хозяйку с дочками везу. Саня...

Он стоял перед нею словно виноватый. Мял в руках картуз. Лица его не видела. Лицо было в тени. Видела только руки. А руки его всё мяли да мяли картуз. О господи!

— Да зачем же уезжать, Федя?

— Все едут, Саня... Много народу уехало... На рассвете и мы.

— Пусть другие едут, тебе-то зачем? Тебе зачем?

А он все мял картуз, все молчал. Потом сказал:

— Саня, ведь хозяйское слово закон. Разве смею послушаться? Велел ехать, вот и еду. Пять возов добра везу да в кибитке хозяйку с дочками. Саня, я за тобой ведь... Скажу — сестра... Найду тебе место...

У Саньки гордо вздернулась голова.

— Вот еще, из Москвы уезжать! Никуда не поеду...

— Саня, говорят, скоро Смоленск отдадут французам...

— Брехня все, а ты слушаешь.— И, в точности как Степан Акимыч, крикнула:—Бабы толки все!.. Не совестно тебе, Федя?

— Не брехня это, нет! Нынче поутру из Смоленска хозяйкина сестра прибыла с ребятишками. Недалеко от Смоленска бои. А коли сдадут Смоленск, прямая дорога французам на Москву...

Потом долго вспоминался Сане этот прощальный разговор с Федором. И не раз думала: кабы не такое было прощание, может, все по-иному сложилось бы у них. Хотя что там говорить? Судьба у каждого своя. Что на роду написано, тому и быть...

Но в ту минуту о судьбе своей она не думала. От горести ли, что расстанется с Федором, от смутного ли страха, что французы и впрямь возьмут Смоленск, а там кто знает? В ту минуту запальчиво крикнула:

— Вот ведь какой ты! Всякую бабу, развеса уши, слушаешь! А нашего главнокомандующего, их сиятельство Ростопчина, слушать не желаешь? Забыл, какие слова молвил: жизнью своей отвечаю...

— Эх, Саня...— Федор махнул рукой.— Не знаю, какой ему прок от того, только правды в его афишках ни на грош... Уж это точно!

А потом...

Да, а потом подошел к Сане и первый раз за все их знакомство обнял и поцеловал в губы. Крепко-крепко.

— Голубушка моя,— сказал,— я вернусь... Ты жди меня. Вернись, обязательно вернись.

Санька ничего не ответила. Вырвалась и убежала. И об этом потом много и с печалью думала: как же она так, ничего ему не ответила, локтями оттолкнулась и бежать? И ведь не знал он (откуда ему было знать?), как, прибежав на сцену, темную, безлюдную, прижалась лбом к холсту, который расписан был цветущим садом, как безутешно плакала, плакала навзрыд и утешалась лишь тем, что никто не видит ее слез и не слышит ее плача...

А через несколько дней Москва узнала, что Смоленск оставлен русскими войсками и туда вошел неприятель. Было это в самом начале августа.

И еще Москва узнала, что весь Смоленск пылал, весь был охвачен огнем. В горящий город вошли французы, а зажгли свой город сами жители Смоленска, чтобы ни одного зернышка не досталось врагу...

Наполеон Бонапарт писал в Париж императрице: «Мой друг! Я в Смоленске с сегодняшнего утра. Я взял этот город у русских, перебив у них три тысячи человек и причинив урон ранеными в три раза больше. Мое здоровье хорошо, жара стоит чрезвычайная.

Единственными свидетелями нашего вступления в опустошенный Смоленск являются дымящиеся развалины домов и лежащие вперемешку трупы своих и врагов... Ни разу с самого начала военных действий мы еще не видели таких картин, мы были глубоко потрясены... Пожар истребил половину зданий: базар, магазины, большую часть домов... Что касается военной добычи, то она сводится к нескольким плохим военным пушкам».

В тот день, отдав приказ потушить немедленно пожары, убирать с улиц убитых и подсчитать трофеи, Наполеон проследовал в приготовленные ему апартаменты. И там до самой темноты стоял у окна, смотрел на горящий город. О чем он думал в ту ночь, глядя на багровое небо и на багровые тучи, которые стремительно неслись по этому небу? О Москве ли, которая была впереди и которой, ему казалось, так просто и так легко теперь овладеть? Или о Париже, куда он возвратится, теперь уже скоро, овеянный славой триумфатор? Или, может быть, просто любовался пламенем пожара, которое со всех сторон охватило город и яростно бушевало среди улиц и домов?

Одно можно сказать: о тех страшных московских пожарах, которые ждут его через месяц, он тогда и не помышлял и не мог помыслить...

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### О ПОСЛЕДНЕМ СПЕКТАКЛЕ В АРБАТСКОМ ТЕАТРЕ

Москва стала особенно заметно пустеть после сдачи французам Смоленска.

Опустели дворцы московской знати. В них остались лишь дворники да старые верные слуги. Им наказано было, не жалея жизни, сторожить барское добро, которое не могли увезти с собой хозяева. Сами-то укатили в свои тамбовские, орловские, симбирские поместья. Кто куда.

Еще раньше стали покидать город люди купеческого сословия. Оставляя в опустевшем городе дома и лавки, купцы со своими товарами двинулись с половины июля.

Ростопчин докладывал в письмах царю Александру: «Я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы для собственного спокойствия...»

А через некоторое время, уже в другом письме, московский главнокомандующий снова пишет царю: «В городе до такой степени спокойно, что должно удивляться. Причиной бесстрашия суть ненависть к Наполеону и надежда в скором времени увидеть его уничтоженным».

И далее еще в одном из своих писем Ростопчин рассказывает царю: «Вчера пришел ко мне молодой дворовый слуга и объявил, что он так страстно желает драться с французами, что потерял сон и болен от этого. Я принял его в солдаты, выдав рекрутскую квитанцию его помещице, дал ему денег и с первым курьером отправляю к военному министру, чтобы употребить его в дело».

О том, сколько экипажей ежедневно покидало Москву, известно по ведомостям, которые доставлялись Ростопчину: более 1300 бричек и карет, не считая простых троечных кибиток, выезжало через заставы Рогожскую, Серпуховскую, Семеновскую.

Цены за наем извозчичьих экипажей росли с каждым днем. Даже за простых крестьянских лошадей платили втридорога. А последние четыре дня перед сдачей Москвы неприятелю за дорогу в 240 верст ящики брали до 800 рублей вместо 30—40, как это бывало прежде.

Но в то время как по Владимирской, Рязанской, Тульской дорогам, тесня друг друга, уходили обозы разнообразных экипажей — кареты, дормезы, таратайки, коляски, брички, кибитки,—

по старой Смоленской дороге через Дорогомиловскую заставу в Москву вливались потоки телег, фур, повозок с сотнями и тысячами раненых из-под Бородина, Можайска, Вереи.

И все-таки, несмотря на очевидное, Ростопчин продолжал утверждать, а слова его мгновенно подхватывались и из уст в уста передавались по всей Москве, что, пока он главнокомандующий, ключи от Москвы Наполеону он не отдаст.

Иные ему возражали:

— Но вас могут заставить. Ведь Мадрид, Вена, Берлин сдали свои ключи Бонапарту...

— Меня заставить? — с возмущением восклицал главнокомандующий и тут же пускал в ход один из своих каламбуров, до которых был великим охотником: — Москва не будет им подражать, Москва останется неподражаемой!..

6 августа был сдан Смоленск.

8 августа главнокомандующим всеми армиями был назначен прославленный полководец Михаил Илларионович Кутузов.

26 августа произошло кровопролитнейшее сражение под Бородином. Затем русская армия без боя оставила Можайск. Путь на Москву был открыт.

Но до последних дней москвичи, да и не только москвичи, а вся русская армия была в твердом убеждении, что окончательная и самая решительная битва будет дана именно под Москвой и именно под Москвой враг будет полностью разгромлен.

В одной из последних своих афишек Ростопчин, обращаясь к населению Москвы, писал:

«Светлейший князь (так Ростопчин величал Кутузова), чтобы скорее соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него пойдет. К нему отправлено отсюда сорок восемь пушек со снарядами, и светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли: дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне надобно молодых, и городских и деревенских. Я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу. Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяжеле снопа ржаного».

А в Арбатском театре каждый вечер по-прежнему шли спектакли, хотя публики на эти спектакли приходило все меньше и

меньше. Оперы с трагедиями уже не ставились, о чем в своих донесениях в Петербург уведомлял Майков.

«При настоящих обстоятельствах,— писал он главному директору императорских театров Нарышкину,— все дворянство и лучшее купечество выезжают из Москвы в разные города. Посему певчие, составляющие хор в театре и принадлежавшие разным господам, отправляются по воле их из Москвы в другие места, отчего все оперы, трагедии и другие пьесы, где они употреблялись, не могут идти...»

19 августа Майков отправил в Петербург Нарышкину тревожное письмо:

«...Казенные места, как-то: Ломбард, Мастерские и Оружейная палата, Казначейство и проч., укладываются и отправляются из Москвы. Вследствие этого, долгом поставлю просить Ваше Высокопревосходительство, не благоугодно ли будет предписать, чтобы, в случае ежели сверх всех ожиданий не воспримут обстоятельства лучшего оборота и ежели будет неизбежная необходимость, отправился я вместе с конторой, школой, театральным гардеробом, казной и другим имуществом, которое поважнее, равно с артистами в С.-Петербург или в другой город, какой угодно назначить Вашему Высокопревосходительству, употребляя нужные на путь деньги из сумм, в театре состоящих».

Нарышкин с ответом не торопился.

Между тем французы подходили всё ближе и ближе. 30 августа они находились уже в трех днях пути от Москвы. В этот день в Арбатском театре был назначен очередной спектакль. Давалась драма Сергея Глинки «Наталья — боярская дочь».

Утром Степан Акимыч с Саней, как обычно по воскресным дням, были в церкви Трех святителей.

После отъезда Федора уже прошло более месяца. Санька, и желая того и не желая, думала о нем беспрестанно. Вот и сегодня, находясь в церкви, молилась, клала поклоны, крестилась, а в голове был только Федор. Где он теперь? Хорошо ли доехал с хозяйским добром? Довез ли хозяйку с дочками в тот город, куда был послан? Помнит ли о ней, о Саньке? А главное: скоро ли вернется, как обещался при разлуке?

Тоска снедала ее. Неужто так можно — чтобы один-единственный человек заслонил собой весь белый свет? И все, что делается вокруг, все кажется не таким, как при нем, когда он был рядом. Словно бы и солнце не так светит. И птицы не так поют.

И небеса утратили свою синеву. И звезд стало поменьше на темном августовском небосводе.

О господи, прости меня, грешную, что так возлюбила я своего ненаглядного!..

И все же, тоскуя и думая о Федоре, ни разу Саня не пожалела, что не поддавалась его уговорам, что не уехала с ним из Москвы, не покинула дедушку Акимыча... А когда на амвон вышел священник в лиловой бархатной скуфейке и стал произносить молитву о спасении России от вражеского нашествия, Саня, покосившись на Степана Акимыча, заметила, как по щеке его ползет медленная скупая слезинка. И, увидев вдруг, какой он стал маленький, сухонький и старенький, чуть сама не заплакала. Еще раз мысленно поклялась себе: не покинет она дедушку ни за что и никогда.

И стала она повторять за священником слова молитвы, стараясь уже не думать ни о чем, кроме этой молитвы...

— Владыка господи! Услышь нас, молящихся тебе... — тихим старческим голосом говорил священник.

И Саня горячим шепотом стала за ним повторять:

— ...услышь нас, молящихся тебе... восстани в помощь нашу... да постыдятся и посрамятся мыслящи нам зла... всех нас укрепи верою... утверди надеждою...

Когда, отстояв службу, Саня и Степан Акимыч вышли на паперть, солнце, не по-осеннему раскаленное, на мгновение ослепило их.

— Жарища-то какая! — сказала Саня и невольно прикрыла глаза, привыкшие к сумраку церкви.

По Арбату от Дорогомиловской заставы, скрипя колесами, непрерывным потоком медленно двигались повозки. А на них — раненые, раненые, раненые... С желтыми страдающими лицами, с кровью, запекшейся на грязных, наспех сделанных повязках.

— Отколь везут? — тихо спросила Саня.

— Из-под Можайска небось... — тоже тихо ответил Степан Акимыч.

— Да ведь, дедушка, Можайск-то... — Санино сердце тревожно забилося. Можно ли было поверить, чтобы проклятый Бонапарт, изверг, окаянный антихрист, находится так недалеко от Москвы!..

И вдруг услышала далекий, очень далекий раскат.  
Неужто гром?

Да откуда грому быть? Ведь небо без единого облачка. Ведь сколько времени дождя не было — такого жаркого да сухого лета, говорят старики, давно не случалось.

О господи!.. В растерянности поглядела на дедушку Акимыча. И он на нее глянул. И по его глазам поняла, что вовсе это не гром небесный. Тогда что же?

А из сухого и пыльного марева, стоявшего над Смоленской дорогой, по которой тянулись и тянулись телеги, фуры, извозчики и шли пешие раненые, снова донесся очень далекий и еле ощутимый раскат...

Санька перекрестилась. Снова посмотрела на Степана Акимыча. Но тот на нее уже не смотрел. Молчал. Опустил голову.

А на углу, как им с Арбата повернуть на площадь, стояла толпа. Какой-то человек в гороховой шинели бравым голосом произносил слова одной из последних афишек Ростопчина. Доносился его голос:

— Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяжеле снопа ржаного...

В толпе засмеялись, а человек в гороховой шинели повторил:

— Так-то, братцы, всего лучше вилы-тройчатки! Не зря их сиятельство граф Ростопчин пишет: «француз не тяжеле снопа ржаного...»

У Саньки повеселело на душе. Она усмехнулась. Представила себе, как она, Санька, поддевает вилами не то ржаной сноп, не то француза, который не тяжеле этого снопа...

— Вот ведь какие слова...— начала было Саня, но, посмотрев на Степана Акимыча, умолкла: он был все так же сумрачен и молчалив. Даже не верилось, что совсем недавно и он с упоением, вроде этого в гороховой шинели, читал каждую строку ростопчинских афишек и верил всему, что в них написано.

Пройдя еще несколько шагов, оборотился к Сане. Нахмурившись, сказал:

— Сударушка...

Но Саня понимала, о чем пойдет разговор, сердито его оборвала:

— Знаю, дедушка, о чем станете толковать! Только никуда я из Москвы не поеду! Никуда!.. Давеча говорила вам, дедушка, и опять говорю... Вот ведь какие слова пишет их сиятельство граф...



— Все вздор он пишет! — воскликнул Степан Акимыч. — Для дураков, для простофиль, для неучей... Правды ни на грош!

Снова у Сани оборвалось сердце. И покатилося куда-то в пятки, а может, еще подальше. Как же так? Неужто ни на грош правды?

А Степан Акимыч продолжал, но теперь уже не так запальчиво, поспокойнее:

— Прошу тебя, Санюшка, внемли моим словам... Уезжай! Со дня на день Аполлон Александрович ждет указания из Санкт-Петербурга. Говорил — всех актеров и все театральное имущество будут увозить из Москвы. Кажись, в Ярославль.

В Ярославль? Где теперь Федя? Вмиг представила себе: идет по неведомому ей Ярославлю, а навстречу Федор. «Саня, ты?» — «А то кто же?» — «Саня, голубка моя...» Сколько радости ему и ей...

— А вы, дедушка?

— Нет, Санечка, мне из театра нельзя. Кто же в нем сторожем останется, коли и я уеду? Театр-то деревянный — тут одной искорки достанет, чтобы спалить дотла... Нет, я из театра никуда!

Теперь Санька молчала. Теперь она поникла головой. Все перемешалось в уме: и Федор, и Ярославль, и дедушка Акимыч, и театр, который от одной искорки может дотла сгореть, и те раскаты, какие доносились, хоть изредка, а все же доносились с той стороны, где находились французы со своим Бонапартом.

Потом, тряхнув головой, Санька поглядела сперва на Степана Акимыча, потом на театр, к которому они уже подходили.

— Нет, дедушка, и я никуда! Вместе будем в четыре глаза смотреть, чтобы искорка не запылила наш театр...

А театр стоял перед ними красивый, нарядный, окруженный белыми колоннами и сияя на ослепительном солнце близкой этих колонн.

\* \* \*

Вечером 30 августа в театре шел последний спектакль. Публики было мало. Почти все ложи бенуара пустовали. Да и в партере были заняты немногие кресла. В райке хоть и шумел народ, но и там было куда просторнее обычного.

Неярко горели свечи и в люстре на потолке, и в настенных

бра. Этот зал, такой всегда праздничный и нарядный, казался поблекшим и обветшалым.

В антрактах, когда все двери на улицу были распахнуты, чтобы хоть немного проветрить духоту, ясно слышалась далекая канонада.

Актеры играли вяло, больше думали о том, что вот, дескать, из Санкт-Петербурга все не приходит да не приходит известие, чтобы покинуть Москву. А ведь надобно собраться. А время-то уходит. Как быть со всеми чадами и домочадцами? Да будут ли лошади, чтобы увезти хоть малую толику вещей, если предписание ехать все-таки придет?

И все-таки никто в тот вечер не мог себе представить, что спектакль 30 августа станет последним спектаклем в Арбатском театре...

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

### В КОТОРОЙ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИХОДИТ ДЕПЕША

Только лишь в ночь на 31 августа из Санкт-Петербурга пришла долгожданная депеша от Нарышкина. Майков уже улегся спать, но был разбужен курьером. В депеше было предписание от Нарышкина ему, Майкову, вместе с казной, учениками театральной школы и теми артистами, кои не хотят оставаться в Москве, а также со всем прочим театральным имуществом следовать в место, которое главнокомандующий граф Ростопчин найдет безопасным.

Чуть свет Майков побежал к Ростопчину. Только через московского главнокомандующего в эти дни можно было достать лошадей и выехать из Москвы. По его подсчетам, притом самым скромным, ему необходимо было не менее ста пятидесяти подвод для самого ценного театрального имущества и тех актеров, которые изъявили желание ехать, и, надо думать, не с пустыми руками.

Прихожая и приемная главнокомандующего была битком набита чиновниками, военными курьерами, адъютантами, всеми теми, кто явился за приказанием, прибыл с донесениями, пришел по своим собственным делам или кого потребовал к себе сам Ростопчин. Из его кабинета то выходили, то вновь туда входили люди. Почти у всех были напряженные и озабоченные лица. В приемную доносился гневный, подчас крикливый голос. Ростопчин, кого-то распекая, выкрикивал:

— Я ничего им не спущу! Пусть не думают скрывать свои плутни... Выведу всех на чистую воду! Выведу, выведу...

Майков вспомнил хвастливую фразу, которую Ростопчин любил повторять о самом себе: «Сердцем прям, умом упрям, на деле — молодец...»

Сейчас подумал: и впрямь молодец! Ишь как ругает...

Из кабинета пулей выскочил смотритель воспитательного дома. Был бледен, в ответ на вопрошающие взгляды окружающих лишь махнул рукой: дескать, хуже и быть не может!

Вынимая и снова пряча депешу, полученную от Нарышкина, Майков размышлял: «Спрошу сперва сто пятьдесят подвод, а там видно будет: может, даст и больше. Ведь на ста пятидесяти ни-почем не уместиться. Шутка ли, весь театр! Ах, ах, и зачем медлили? Ведь при пустом зале шли спектакли, себе в убыток. Неразумно сие, весьма неразумно».

Неожиданно к нему подошел адъютант главнокомандующего, хорошо знакомый Майкову. Он был одним из самых ярких театралов и всегда абонировал кресло в третьем ряду партера. Сказал с полуулыбкой, однако же строго:

— Их сиятельство ждет... Только покорнейше прошу покорооче, Аполлон Александрович! Сами видите, сколько народа дожидается. Уже давно из богадельни смотритель, от пожарной команды... О вас доложил в первую очередь!

Майков на цыпочках вошел в огромный кабинет. Ростопчин, сидя за столом, что-то торопливо писал на листе бумаги. Был он хмур, брови насуслены. Его огромный лоб, переходящий в лысину, от колеблющегося пламени еще не потушенных свечей отсвечивал желтизной. Желты были и щеки, обрамленные узенькими темными бакенбардами. За его спиной, почтительно склонив голову, стоял еще один адъютант. Стоял, видимо, в ожидании той бумаги, которую дописывал главнокомандующий.

Майков застыл у двери, не решаясь приблизиться к столу.

Окончив писать, Ростопчин хотел было передать бумагу адъютанту, стоявшему за его креслом, но поднял глаза и увидел Майкова. Узнал его. Скороговоркой произнес:

— Да, да, тоже нынче в ночь получил депешу от Александра Львовича. Так куда вам лучше всего, батенька? Не во Владимир ли? — И, не дождавшись ответа, вдруг вскочил с кресел и проговорил: — Решил ободрить москвичей! Вот послушай новое воззвание. Каково? — И он прочитал вслух последнюю из своих афишек, появившуюся 31 августа, за день до сдачи Москвы не-

приятелю: — «Я завтра рано еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев. Станем и мы из них дух искоренять и этих гостей к черту отправлять; я приеду назад к обеду, и примемся за дело, сделаем, доделаем и злодеев отделаем!»

Последняя фраза, очевидно, ему самому была по вкусу, и он прочел ее дважды, посматривая на Майкова и словно требуя его одобрения. И Майков одобрительно засмеялся. Подумал: «Слава богу, попал в хорошую минуту, может, даст лошадей и сверх про-симых...»

Вслух же он сказал, что во Владимир — это хорошо, да вот нужны подводы...

— Подводы?! — с удивлением переспросил Ростопчин.

— Хотя бы сто пятьдесят подвод. А ежели вашему сиятельству будет возможно, хорошо бы...

Удивление на лице Ростопчина сменилось гневом.

— Шутишь, братец! Да откуда же их взять? — И, окончательно распаясь, закричал: — А почему прежде не вывозил своих актеров? С коих пор по моему приказу все заставы были открыты, выезжай куда угодно... Почему медлил, спрашиваю? Почему такая беспечность в делах? А?

Майков мог бы сказать, что не его в том вина, что не он медлил, а начальство не спешило; что сам главнокомандующий для поддержания бодрого духа у москвичей требовал каждодневных спектаклей; что актеры подчас играли при пустом зале; что... Да мало ли что можно было сказать в свое оправдание. Но он молчал. Понимал: каждое его слово только ухудшит дело, как бы и вовсе не уйти без подвод.

В конце концов Ростопчин приказал выделить для театра девятнадцать подвод.

— Только девятнадцать?

— И ни одной более! — отрезал Ростопчин.

Когда Майков вышел из кабинета главнокомандующего, в ответ на вопрошающие взгляды находившихся в приемной он так же, как давеча зритель воспитательного дома, лишь безнадежно махнул рукой: мол, хуже быть не может и не до разговоров!

Оно и правда — на разговоры лишних минут не оставалось. Надо было поскорее где угодно и как угодно доставать лошадей и выезжать из Москвы.

Приказав укладывать на подводы самое ценное из театраль-

ного гардероба, Майков распорядился нанимать лошадей у ямщиков за любые деньги. Подсчитал, что из своих собственных лошадей сколько-то можно выделить для нужд театра.

\* \* \*

А Саню все-таки Степан Акимыч уломал вместе с актерами выехать из Москвы. Вернее, не сам уломал, вся труппа урезонила упрямую девчонку. Куда же оставаться? Ведь не сегодня-завтра под Москвой будут пушки стрелять, сражение начнется. Теперь издалека бухает, да и то страшно, дух захватывает, а ежели рядом начнется, каково будет?

А более других старалась Сандунова. Сказала, ежели Санька будет долго упрямяться, она ее по щекам отхлещет да еще по одному месту... Вот так-то!

И Саня сдалась. Хмуро, сквозь зубы процедила:

— Поеду...— а более ни слова.

А Степан Акимыч, тот вдруг воспрянул духом. Как узнали, что он остается при театре, все к нему:

— Степан Акимыч, от гардеробной ключи...

— Акимыч, будь благодетелем, кое-чего принесу из дома, спрячь! У тебя-то не разворуют...

И с тем и с этим, и с одним и с другим. Всем стал нужен.

Даже сам управляющий, сам Майков, сам Аполлон Александрович зазвал его в свой кабинет и самолично стал давать распоряжения: и чтобы все театральные двери были замкнуты крепко-накрепко; и чтобы все уборные тоже не стояли открытыми; и чтобы занавес берег, ибо художником Скотти занавес разрисован; и чтобы смотрел бы за обивкой кресел в партере и в ложах бенуара. А главное, чтобы никого в театр не пускал... Ни единая душа чтобы порога не переступила, понятно?

Степан Акимыч кланялся. Говорил, чтобы ехали в полном спокойствии, беречь он будет театр и все имущество как зеницу ока.

Напоследок Аполлон Александрович похлопал старика по плечу и обещал по возвращении исхлопотать ему пенсию и какую-нибудь награду. Вынул из кошелька золотой империял, протянул:

— Вот тебе — ешь, пей да не жалеЙ!

Сроду Степан Акимыч таких денег в руках не держал. Да разве в деньгах дело?

К себе в каморку вернулся окрыленный, хотя еле волочил ноги от предотъездной кутерьмы, какая творилась в эти последние часы в театре.

— Не в том дело, Санечка, что пенсион али какая награда... Главное, что сгодился! Хоть не могу по старости лет грудью стать на защиту отечества и матушки-Москвы, а все же пригоден. Пригоден же, а? Шутка ли, на этих вот, на моих руках все оставлено — весь театр огромный и все театральное имущество. Честь-то какая!

Потом оба решили, что нужно и Анюту уговорить вместе с актерами ехать из Москвы. А уж ежели не захочет без своей барыни, пусть и барыня едет во Владимир. Ведь мадемуазель Луиза Мюзиль не кто-нибудь, а тоже актриса Арбатского театра!

Санька повеселела: все-таки вместе с Анюточкой в чужих местах куда лучше, чем одной.

Накинула на голову платок и полетела в Скатертный переулок. Там теперь Анюточкина барыня нанимала небольшой флигелек у вдовой чиновницы. И сомнений у Саньки не было, что уломает Анюту ехать вместе во Владимир.

А лучше бы не видели ее глаза то, что увидели. И лучше бы не слышали ее уши то, что услышали...

## ГЛАВА ПЯТАЯ,

### В КОТОРОЙ САНЯ СНОВА НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ

Переулками, переулками, переулками... Из одного в другой, из другого в третий, чтобы покороче, чтобы побыстрее... Бежала Санька в Скатертный, пересекая Арбат и Поварскую.

Когда перебежала Арбат, Москва показалась ей еще шумной и многолюдной. Со стороны Дорогомилова, поднимая тучи пыли, по мостовой тянулись военные повозки и фуры с тяжелоранеными, за повозками шли те, кто мог идти пешком.

И на Поварской тоже видела длинные вереницы обозов. Эти ехали, однако, в обратном направлении, в сторону Кудрина, чтобы потом свернуть направо и уже по Садовой выехать за пределы города.

А в переулках все словно бы вымерло. Пусто. Безлюдно. И большие богатые дома в глубине садов за узорчатыми ограда-

ми, и небольшие особнячки с антресолями под крышей, и совсем маленькие флигеля и домишки — все стояли покинутые, с заколоченными дверями, с окнами, плотно прикрытыми ставнями. Стояли будто ослепшие, будто оглохшие, будто неживые...

Редко-редко возле какого-нибудь дома судачили дворники, оставленные хозяевами стеречь добро.

В Хлебном переулке один помоложе чуть ли не перегородил Саньке дорогу:

— Эй, красавица, куда спешишь-торопишься? Уж не Бонапарта ли встречать?

— А то побыла бы с нами,—подхватил другой.—Вместе злодеев встретили бы... Куда как весело!

Оба засмеялись, а Санька метнулась в сторону и припустила еще быстрее. Еле дух перевела, когда из Хлебного завернула в Столовый переулок. Подумала: «Вот охальники!.. Креста на них нет. В такое-то время да шутики шутить! — И еще подумала: — Может, Фекла нальет миску щей или какой лапши с грибами. Или, на худой случай, даст каши с постным маслом. Что-то они с дедушкой Акимычем давно на сухомятке, вроде бы оголодали».

Наконец прибежала. Вот он, Скатертный переулок. Вот старая липа во все стороны раскинула ветки. Вот на углу и белый флигелек пятью окошками смотрит в переулок. Стоит как прежде: и окошки зрячие, и на окошках кисейные занавески. А из дома доносятся развеселые голоса. А развеселые-то почему?

В дом Санька вошла с дворового крыльца. И не так чтобы сразу. Сперва постояла. Дух перевела — очень запыхалась, пока бежала.

А отдышавшись, отворила дверь в кухню. Увидела здешнюю кухарку Феклу, поклонилась:

— Доброго вам здоровья, тетенька Фекла!

Из себя Фекла тощенькая, как монашка всегда в черном. И платок на голове тоже черный, до самых бровей спущенный, тугим узлом стянутый под подбородком. Поглядеть на нее — до того злущая, не подступишь.

Но Санька знала: добрее Феклы разве лишь один дедушка Акимыч. Сколько раз их выручала! Ведь иные дни они с дедушкой только тем и сыты бывали, что им Фекла разные хозяйские остатки посылала.

— Мне бы Анюту,—сказала Санька и сразу осеклась. Глаза у Феклы сумрачные, губы зло поджаты.

— Вы что, тетенька Фекла? Или гневитесь на кого?

Ничего не ответила Фекла, лишь кивнула на дверь, которая из кухни вела в комнаты. А за дверью говор, смех, звон посуды. Неужто гости?

О господи, до гостей ли в такое время!

Посмотрела на Феклу, а та ей в ответ уже не кивком, а словами:

— Радуются французишки...

— Радуются? — У Саньки глаза на лоб полезли.

— Не слышишь? Виват орут. Все виват да виват... Антихриста ждут в Москву.— И Фекла вдруг тихо заплакала, утирая грязным передником глаза и нос.— Уйду от нее, от мамзели... Мы ее жалели, привечали, а она, подлая, нашей беде радуется. Уйду, уйду, нынче же уйду.

— Анюта где? — спросила Санька.

— Прислуживает.

Оттуда, из комнат, по-прежнему доносился веселый смех и хрустальный звон бокалов, и чей-то мужской голос весело крикнул: «Виват! Виват!»

— Бедная!..— воскликнула Санька.

— Кто? Анютка? — У Феклы недобро сверкнули глаза.— Вместе с ними орет, вот те и бедная...

Вдруг дверь в кухню нараспашку — легка на помине. Анюта! Веселая, розовая, кудряшки взбиты, в каком-то новом воздушном платье с хозяйкиного плеча. Увидев Саньку, сперва смутилась, отпрянула было назад. Но тут же, всплеснув руками, кинулась к ней. И заверещала, и закартавила, и затараторила русские слова на французский лад, а французские выговаривая по-русски. Все вперемешку. Обо всем сразу.

— Как хорошо, *ma belle*, что пришла... А *grande-pere*? Здоров? *Eh bien*... А мы тут собрались... Нет, ты посуди, *ma chere*...

— Ты-то чему радуешься? — Санька отстранилась, когда Анюта пыталась ее обнять.

— До чего ты непонятливая, *mon ange*... Ведь совсем близко великая армия. Давеча ночью мосье Ториак с крыши видел, в подзорную трубу... Огни, огни, огни... Как придет великий Наполеон... Варварские наши обычаи...

Санька глядела на Анюту и ушам своим не верила. Рехнулась, что ли, девка? Что она языком треплет? Как язык у нее ворочается? Этакие слова...

И молча, со всего маха влепила такую затрещину, что щека



у Анюты стала вмиг малиновой. Было рот открыла, может, хотела что-то сказать Сане, может, хотела заплакать... Не сделала ни того, ни другого. Только быстро-быстро замигала ресничками.

— Небось теперь поверила...— прошипела Фекла.— А то пожалела — «бедная, бедная».

— Думаешь, что мелешь, дуреха? — крикнула Санька и как шальная выскочила из кухни на крыльцо, а там — во двор, а там — бегом-бегом подальше от белого флигелька. В мыслях же одно: что дедушке Акимычу сказать? Как передать ему, что видела, что слышала?

Возвращалась обратно на Арбатскую площадь самой длинной дорогой. Шла медленно, как могла. На сердце лежал камень. И так было тяжело, так горько...

Сама не заметила, как вышла на Тверской бульвар. Ровно год назад была здесь на этом месте. Дивилась тогда на важных господ и любовалась нарядными барынями. И те и другие без дела ходили взад-вперед по дорожкам.

Сейчас пусты были дорожки, обсаженные рядами берез. И листья на березах пожелтели, пожухли. То ли пора им пришла желтеть, ведь завтра начнется сентябрь. То ли от нынешнего знойного лета раньше времени скорезились. А может, и они, эти березки, с горя да с беды стали ронять на землю сухие листья?

И вдруг:

— Милая, а милая, поди-ка сюда! — услышала она чей-то больной и слабый голос.

Остановилась. Увидела на боковой скамье грузного пожилого человека. Опираясь на палку, хотел он подняться, встать со скамьи и не мог.

Подошла и сразу узнала: Плавильщиков! Петр Алексеевич! Надо же — где и когда привелось человека увидеть... А он, морщась от боли, все пытался подняться, и, видно, сил не хватало. Попросил:

— Помоги, милая. Вишь, до чего одряхлел...

Санька помогла. Потом тихо спросила:

— Давайте, Петр Алексеевич, до дому вас доведу.

Плавильщиков с изумлением воззрился на незнакомую девочку в алом платке.

— Ты-то откуда меня знаешь?

А к Саньке, откуда ни возмись, вдруг вернулись и вся ее бойкость, и весь задор.

— Как не знать? Ведь первый наш московский трагик.

— Ишь ты... Стало быть, видела меня на сцене?

— А как же — в «Царе Эдипе».

Плавильщиков усмехнулся. Был польщен. Даже слегка приосанился. А Санька продолжала все с той же бойкостью:

— А меня-то вы и не признали, Петр Алексеич?

Плавильщиков посмотрел на Саньку. Старался что-то вспомнить, даже морщины на лоб набежали. Не вспомнил.

Санька подсказала ему:

— А кошелек-то помните? Почитай, на этом месте и подала его вам. А вы меня изволили полтинником наградить. С того полтинничка все и началось... Все у меня переменилось, все поехало другой дорожкой.

— Голубушка, да ведь вспомнил! — вдруг молодым голосом воскликнул Плавильщиков, и тусклые глаза его заблестели. — Еще и князь был при том случае. Так?

— Были их сиятельство Александр Александрович, верно, были... А как же, были!

И Санька просветлела. Тяжелый камень вроде бы скинулся, больше не давил на сердце. И про Анюту вдруг забыла, и про войну, которая слышна была совсем рядом.

— Мы еще потолковали о тебе. Между собою положили — хороша была бы субреткой... Вот случай-то какой! Где ты живешь, голубушка?

— Где живу? Да с того самого дня нахожусь при театре.

— Как так?

— Степана Акимыча, суфлера, знаете?

— Как не знать? Известный человек!

— Внучкой ему прихожусь. Александрой меня крестили.

— Шура, стало быть?

— Нет, Саня, — поправила Плавильщикова Санька.

— Как же так, ни разу не встречал тебя в театре, Саня?

— Я же говорю: год всего живу я при дедушке Акимыче. А вы весь этот год не изволили играть в театре.

У Плавильщикова опять опустились плечи. Сказал с грустью:

— Весь год недомогаю, Саня... Вот и сейчас не ходят ноги. — Но, снова прибодрившись, спросил: — Стало быть, нет-нет, а взглянешь на спектакли, а?

— Ни единого не пропущу! Всех видела — и мадемуазель Жорж видела, и Катерину Семенову...

— Ну, Саня, быть тебе служанкой музыки Мельпомены, — про-

говорил Плавильщиков.— Кто попал в театр, кто хлебнул той сладостной отравы, тот навеки прикован цепями к прекрасной госпоже Мельпомене...

У Саньки разгорелись глаза, зарумянились щеки. Плавильщиков же, наблюдая за девчонкой и по-хорошему посмеиваясь, спросил:

— Небось мнишь про себя актеркой быть? Признайся, ведь думаешь о том?

— Да ведь дедушка Акимыч меня готовит. Три роли со мной твердит. Все разного амплуа...

— Нуте, нуте... Какие же?

— Да вот Машу из «Модной лавки»... Еще Антигону из «Эдипа».

И тут свершилось чудо: немощный, больной, понурый человек распрямился, поднял голову и на глазах у Саньки превратился в величавого, царственного старца. И старец этот, положив руку на Санькино плечо, промолвил голосом, полным и глубокой печали, и царственного величия:

— Постой, дочь нежная преступного отца!

Опора славная несчастного слепца!

Печаль и бедствия всех сил меня лишили!

И тогда Санька, красивым, плавным жестом показав на скамью, с которой только что поднялся Плавильщиков, сказала:

— Здесь камень вижу я: над ним древа склонили

Густую тень свою: ты отдохни на нем.

Да нет же — какой Плавильщиков, какая Санька... Не было больше Петра Алексеевича Плавильщикова! Не было и Саньки, покрытой алым платочком. Не было и Тверского бульвара, безлюдного, с рядами пожелтевших березок... Не было и пустого кофейного заведения, в котором еще недавно господа и дамы угощались прохладительными напитками. Ничего этого уже не было. А была земля Афинская, был храм Эвменид, злых богинь, волосы которых извивались змеями. И стоял рядом с прекрасной Антигоной слепой царь Эдип, и это он, а вовсе не Плавильщиков говорил, опускаясь на скамью:

— Спокойно,— я свой век на камне кончу сем.

И вовсе не Санька, а любящая дочь говорила своему отцу:

— Ужасною тоской твои все мысли полны.

А несчастный Эдип вопрошал:

— Видала ль на берегу, когда извергнут волны  
От грозных бурь морских обломки корабля?

...Глухой гул уже совсем близкой канонады донесся сюда, на Тверской бульвар. Санька побледнела. Не могла больше, не было сил оставаться Антигоной. Спросила:

— Петр Алексеевич, ныне все едут из Москвы. Вы-то как?

И Плавильщикова этот грозный гул вернул из кипарисовой рощи Древней Греции, из далеких Афин, обратно в Москву. Он тихо сказал:

— Никуда отсюда не поеду. Верю, твердо уповаю — не отдадут Москвы врагу. Не мыслю, чтобы французы вошли в сей город...

И, схватившись вдруг рукой за Санькину руку, побелел и уже совсем ослабевшим голосом попросил ее:

— Проводи меня до дому, Саня. Что-то совсем неможется...

А когда они подошли к его дому, он спросил:

— Видишь, где живу?

— Вижу,— ответила Санька.

— Завтра али послезавтра придешь ко мне. Буду с тобой заниматься... Кажется мне, что есть в том резон.

— Уезжаем мы, Петр Алексеевич. Все актеры из театра едут. И я с ними.

— Куда же?

— Во Владимир приказ дан ехать.

— Ну, ежели приказ... А я тут останусь. Посижу у себя в Москве, дождусь, пока Бонапарта прогонят. А как прогонят, приходи ко мне, позаймусь с тобой, помогу в школу поступить...

Но время и события показали иное. Пришлось и Плавильщикову вместе с семьей бежать из горящей Москвы. Оказавшись в сельце Ханееве Бежецкого уезда, он умер там и был погребен на бедном деревенском кладбище...

\* \* \*

Расставшись с Плавильщиковым, Санька бегом побежала на Арбатскую площадь. И вновь все, что угнетало, что тяжким грузом лежало на сердце, вернулось. И опять неотступно было одно-

единственное: как сказать дедушке Акимычу про Анюту? Да ведь насмерть убьет, ежели узнает, что его разлюбезная Анюта вместе с барыней ждет не дожидается французов в Москву.

Да как же так?

Поверить трудно...

Может, по дурости своей девка повторяет чужие слова, а своего умишка маловато? Тогда зачем она, Санька, так с ней обошлась? Почему не вразумила ее? А может, поняла бы, одумалась бы... А вдруг прибежит к вечерку? Может, распахнет дверь да прямо с порога: «Дедушка! Санечка...»

Но что сказать дедушке сейчас, коли спросит: «Когда же придет наш ангельчик?»

Но, видно, Степану Акимычу было сейчас не до внушки. Слишком много дел навалилось, раздирали его на все стороны. Тут молодому успевай поворачивайся, не то что ему.

Ни о чем Саньку не спросил. Только глянул на нее. Санька было сама начала:

— Вот была на Скатертном, там...

А он ее оборвал:

— Ладно.— И больше ни гугу.

Может, на Санькином лице все было написано. Ни спрашивать ее, ни отвечать ему ничего не требовалось.

А потом, не глядя Саньке в глаза, сказал:

— Иди собирайся, сударушка... Вон на том возу поедешь. Да гляди в оба. На нем самые богатые костюмы из театрального гардероба. Будешь беречь. Упаси бог, чтобы не пропало!

Вот тут Санька ему и выдала. Кинулась к Степану Акимычу и давай реветь. Никогда за всю свою жизнь так не плакала, так не причитала.

— Дедушка, миленький... Дедушка, голубчик... Позвольте мне, дедушка... Не велите мне ехать! С вами останусь...

Но Степан Акимыч был неумолим.

Первого сентября в три часа утра обоз с актерами, с театральной казной, кое-какими важными книгами и самыми дорогими костюмами из театрального гардероба тронулся в путь.

Санька, вся зареванная, с опухшими от слез глазами, сидела на узлах с костюмами. Еще не рассвело, когда обоз с Арбатской площади был у Никитских ворот. Как сквозь туман, последний раз взглянула она на театр, на его белые колонны, на его круглую крышу, на все, что оставалось в Москве.

А Степан Акимыч сперва шел вровень с обозом, потом стал

отставать, потом совсем остановился. И видно было в предрасветных сумерках, как он крестным знамением осеняет уезжающих...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ,

### В КОТОРОЙ СТЕПАН АКИМЫЧ ОСТАЛСЯ НАЕДИНЕ С ТЕАТРОМ

Проводив обоз с актерами, Степан Акимыч как вошел в свою комнатнушку, так и повалился на лежанку. До того устал за часы предотъездных сборов и хлопот, что ноги не держали.

Но уснуть не мог. Все томило и беспокоило его. Мерещились какие-то стуки, шаги, голоса... Хоть твердо знал, ни стуков, ни шагов, ни голосов в театре быть не может, ибо все проверил: двери заперты, а ту, через которую только что вошел, самолично и крепко-накрепко замкнул ключом.

То виделось ему заплаканное лицо Сани, и уже жалел, что против воли отправил девчонку в неведомую даль. Ведь надо же — во Владимир! Сколько же туда верст будет? Небось не менее четырехсот...

А еще больше снедали думы о внучке, об Анюточке. Что сказала ему Саня, когда прибежала со Скатертного? К вечеру, мол, Анюта будет? К вечеру? Так ежели к вечеру, так пришла бы уже? Ан нет ее. Может, ныне к вечеру? Потом вспомнил, что об Анюте ничего ему Саня не говорила, а была сама не своя, когда прибежала. И взор от него прятала. В землю уперлась глазами, лишь бы на него не глядеть. А он и допытываться не стал. Не до того было. Рвали его во все стороны. Разве поспеть и туда и сюда, и опять туда, и снова сюда... Ох, ох, ох, ведь не молоденький же! Не семьдесят ли пятый пошел? Так оно и есть — семьдесят пятый. Ванюшке Нарыкову, по-теперешнему-то Ивану Афанасьевичу Дмитриевскому, сказывали, семьдесят девять, а между ними пять годков разнища. Помнится, ему, Степке, было четырнадцать, а Ване — девятнадцать, шел двадцатый год, когда они всей актерской труппой из Ярославля в Санкт-Петербург отбыли...

Потом снова мысли его перекинулись на Анюту. Давненько к ним не приходила. Ну как давненько-то? Дня два? Али три? Нет, побольше...

Так, охая и кряхтя, перевертывался Степан Акимыч с боку на бок. Сон не шел к нему, лежанка казалась тверже камня, и

думы в голове крутились и перекатывались, и ничего в этих думках не было хорошего и отрадного.

И наконец в довершение всего принялся себя бранить: мол, старый он пень, старый дурень, пентюх... Тревожится о том, о чем и думать нечего. О господи, может, нынешний день под Москвой надлежит быть великому сражению, может, пойдет страшная баталия... Коли за много верст слышна канонада, какво же будет, ежели начнется под самой под Москвой?

И хоть смутно представлял себе Степан Акимыч ту баталию, которая должна была произойти у самой Москвы, все равно содрогался от того, что рисовало ему воображение.

Так промучившись до рассвета и ни на минуту не вздремнув, вскочил на ноги и решил идти на улицу, лишь слегка посерело за окошком. Первые лучи солнца еще не озолотили креста на ближней колокольне.

В комнатухе был тот обычный беспорядок, какой всегда бывает после торопливых сборов и неожиданного отъезда. И чуть ли не до самого потолка одна сторона была загромождена разными корзинками и корзиночками, узлами и узелочками. Все это на сохранение оставлено было Степану Акимычу. У него самого, а тем паче у сударушки и помину не было того добра, какое притащили уехавшие. Всяк приходил с одной и той же просьбой, с одними и теми же словами:

— Будь благодетелем, Акимыч! Пусть у тебя полежит до нашего возврата. Боюсь, дома-то растащут. А ежели у тебя, душа будет покойна...

И никому не было отказа. Вот и загромодили чуть ли не половину каморки чужие вещи. Да ведь и загромождать недолго: два шага поперек, три шага в длину — вот она и вся, его каморка!

Когда солнце взошло, Степан Акимыч стал собираться: решил сбежать в трактир. Нет, не за едой. Всякой снеди у него на год хватит. Одна Лизонька Сандунова притащила копченый окорок и еще разного. Добрая душа! Он ей: «Куда мне, Лизавета Семеновна? Век не съесть...» А она ему: «Бог знает, когда вернемся, Акимыч... А окорок хороший, сами коптили. Знаешь моего Силу Николаевича — мужик хозяйственный!»

А танцор Глушковский, тот бутылку шато-лафита принес. «Выпьешь, Акимыч, когда наши французов от Москвы погонят!» — «Да уж нет, — ответил ему Акимыч, — вместе выпьем, когда вернетесь...» — «Ну-ну, вместе так вместе...»

Нет, не затем, чтобы поест, отправился в трактир Акимыч. Еды и дома хватало. Хотелось между народом потолкаться, может, кому уже стали известны военные дела: один одно скажет, другой другое — вот и прояснится ему кое-что.

А в трактире творилось несусветное. Хозяина на месте не оказалось — с семейством вчера выехал из Москвы. А уехав, приказал: ежели, паче чаяния, злодеи войдут в Москву, ничего им не оставлять. Все из подвалов, из погребов тащите и пируйте! И хотя злодеев пока не видно было, пир шел горой. Выкатили из подвала бочки с вином и брагой, выгребли все, что имелось в запасе, и гуляй душа — ни спроса, ни вопроса.

Постоял, посмотрел на это Степан Акимыч, покачал головой и побрел прочь.

А тут еще напасть: какой-то малец к нему прицепился. Сам конопатый, чумазый, а глаза синими искрами сверкают. Неужто и этого подпоили?

Пристал этот малец, бает несусветное да с ухмылкой:

— Поклон вам низкий от Александры Лукинишны...

— Проваливай, проваливай, пока квартального не позвал! — отмахнулся от него Степан Акимыч.

А тот не отстаёт да свое:

— Александра Лукинишна сказывала: передай дедушке, что виделась с актером Плавильщиковым. Говорит сей актер...

Тут Степан Акимыч не на шутку рассердился, затопал ногами:

— Чтобы духу твоего здесь не было! Какую ахинею несет... Чего выдумал? Какую-то Александру Лукинишну...

А конопатый вдруг вздохнул и сказал, будто про себя, однако во всеуслышание:

— Иной раз соврешь — поверят. А иной раз истинную правду скажешь — слушать не желают, гонят...

Однако же отстал.

А Степан Акимыч прошел шага три, и вдруг осенило его: да ведь Александра Лукинишна — Саня, Санюшка, сударушка! Ведь сказывала же ему, что отца Лукой звать... Вот дубина! Как же он так оплошал? Может, нарочно этого голодранца к нему подослала? Может, этот парнишка и важное хотел ему сказать? Может, какие слова и об Анюточке? Старый пенё он... Вести сами в руки прилетели, и сам же из рук упустил.

Хотел вернуть паренька, оглянулся Степан Акимыч, да где ж тут — убежал, как и не было.



Горюя и ругая себя, пошел на Сивцев Вражек к старому другу, к капельдинеру Ивану Капитонычу. Капитоныч мужик самостоятельный, чего-нибудь толковое да скажет. Но и тут неудача. Еще три дня тому назад Капитоныч не собирался из Москвы, а вчера тоже укатил с женой и внуками. И соседей не осталось. Всех повымело из Москвы, кто куда мог, туда и отправился.

Анюточка, Анюточка, ангельчик мой, дитятко мое, а ты-то где? Даже коленки дрожат, как о тебе подумаю. Нынче же сбегаю, уломаю, уговорю тебя и твою барыню скорее вон из Москвы. В Ярославль, или во Владимир, или еще куда. Ведь все уезжают. Все покидают первопрестольную... Россия велика и необъятна, есть места, куда можно податься, где можно пристанище найти, пока злодея не отгонят...

В полном смятении всех чувств побрел Степан Акимыч на Арбатскую площадь обратно в театр. На углу Афанасьевского переулка хотел было остановиться и послушать, о чем толкуют прохожие, обступив человека во фризовой шинели. Но, услышав, что тот читает афишку их сиятельства Ростопчина, не стал слушать. Махнул рукой и направился дальше. Больше не было веры у него ростопчинским афишкам. Раскусил их — ни толку, ни разума, одна болтовня.

Но одно достоверное все же понял он из тех разговоров, каких наслушался нынешний день: по приказу все того же их сиятельства Ростопчина всю пожарную команду услали из Москвы. Всех пожарников и со всеми трубами. Случись хоть махонький пожар, некому и нечем будет тушить. Вот дела какие! А во дворе при театре на весь год дрова заготовлены. И дрова-то вылежались за лето, хорошо подсохли, как порох могут вспыхнуть, если хоть искорка какая упадет на них. Ай-яй-яй, страсть какая!

Степан Акимыч перекрестился: не приведи господь такое...

А время уже перевалило за полдень. Жарко светило солнце, жарко горели в его лучах золотые купола бесчисленных московских соборов. И позлащенный крест на колокольне Ивана Великого словно бы купался, окунувшись в глубокую синеву неба...

Со стороны же Дорогомилова по Арбату, пересекая Арбатскую площадь, всё тянулись да тянулись, погромыхая и скрипя колесами, военные фуры, повозки, офицерские коляски. Все с больными и ранеными. Все с солдатами и офицерами.

В этот день, 1 сентября 1812 года, ровно в два часа пополудни, в деревне Фили в девяти верстах от Москвы, фельдмаршал Кутузов назначил быть военному совету в избе мужика Андрея Севостьянова.

К назначенному часу кто верхом, кто в коляске, один за другим стали прибывать созванные Кутузовым на это важное военное совещание главные военачальники русской армии — генералы от кавалерии, генералы от инфантерии — Коновницын, Раевский, Вахтеров, Ермолов, Барклай де Толли и еще многие и многие другие.

Спешившись с коня или выйдя из своего экипажа, каждый, шагнув в избу, прежде всего искал глазами главнокомандующего — Михаила Илларионовича Кутузова. А тот сидел в углу на лавке возле большой побеленной печи. Сидел грузный, молчаливый, в глубокой задумчивости. Сидел в ожидании своих генералов, чтобы сегодня, на этом совете, решить участь не только Москвы, но всей России...

О военном совете в Филиях не знал пока даже граф Ростопчин, который, находясь в своем кабинете, продолжал спешно отдавать одно распоряжение за другим. О совете этом не мог, разумеется, знать и не знал Степан Акимович, который прибрел наконец к театру и, намаявшись в тревожной суете жарких московских улиц, открыл дверь и вошел внутрь здания.

Едва он переступил порог, как полная и безмятежная тишина окружила его. Словно он сразу ступил в иной мир — ни уличного шума, ни пыльной духоты, ни встревоженных лиц, ни суеты, непонятной и потому казавшейся особенно страшной... Одна лишь прохладная и сумеречная тишина огромного и совершенно пустого здания. Точно он после нестерпимого зноя попал вдруг в благодатную тень леса, и казалось, над головой его чуть шелестят листы и лениво пересвистываются невидимые птицы... Будто оказался он в лесу под Ярославлем. Хороши там леса! Давно не был в родных местах. Как покинул город, как ушел в Москву, так больше туда не возвращался.

Прежде чем отправиться к себе в комнатушку, чтобы перекусить и отдохнуть, решил обойти весь театр, все осмотреть, про-

верить. Шутка ли — такую громадину на него оставили. Такой почет не всякому на долю выпадет...

За сценой обошел и актерские комнаты — и те, что налево, и те, что направо. Стоят пустые, неприбранные. До уборки ли было? 30 августа сыграли «Наталью — боярскую дочь», 31-го числа пришел приказ выезжать из Москвы, а 1 сентября в три часа утра уже двинулись во Владимир.

А за кулисами, в глубине сцены, все было заставлено декорациями. И все было знакомо от самых мелочей до самого крупного, от веревки, свешивающейся с потолка, до грубо размазанного огромного холста с рыцарским замком, который писал сам Иван Карлович Скотти, знаменитый художник-декоратор.

Сейчас здесь было темно и душно. Тут был свой запах — пахло клеем, красками и пылью. И с тихой грустью вспомнил Степан Акимыч, как давно-давно, назад лет сорок или, может, поболее того, он, взрослый уже человек, спрятавшийся в один из закутков среди декораций — не среди этих, среди других, да не все ли равно, тут, за кулисами, все схоже, — рыдал, как малое дитя. Тогда, освищенный публикой и изгнанный со сцены, он решил навсегда покинуть театр. Решился, да не кинул. Не мог. Так и остался при театре. Хоть суфлером, да в театре...

И в зрительном зале царила безмятежная тишина. Та непривычная тишина, какая бывает в пустом театре — без огней, без музыки, без публики, без освещенной сцены, без игры актеров на сцене, без всего того, что театр делает театром...

Степан Акимыч одну за другой обошел все ложи бенуара, все осмотрел, проверил. В иных почему-то пощупал малиновый бархат портьер. Потом вышел в зал. Опустился в какое-то из кресел первого ряда партера. Сел и про себя усмехнулся — ишь каким барином заделался! Чье же это кресло? Не князя ли Голицына? Надо думать, его. Из года в год абонирует. Бо-ольшой театрал их сиятельство, тонкий знаток актерской игры! Редкий спектакль это кресло пустует. А ежели не сидит здесь князь, стало быть отбыл из Москвы или — это сразу отмечают все актеры — не счел нужным посетить спектакль. Говорят, еще в августе, сразу после Смоленска, выехал из своего дворца на Басманной улице.

И еще раз порадовался Степан Акимыч, что услал Саню во Владимир. И не в лютый мороз, не в осеннюю слякоть, а катит сейчас обоз и сударушка в этакий славный погожий денек. Надо думать, уже далеко от Москвы. Может, к Мытищам подъезжают.

И правда, 1 сентября над Москвой, над окрестными селами и деревнями, над ближними и дальними городами Подмосковья стоял редкостный, почти по-летнему жаркий день. Было синим осеннее небо, и пахло яблоками.

Занавес был поднят. В серой полутьме сцены виднелись те самые декорации, которые плотники не успели убрать после последнего спектакля. Кирпичные стены новгородского Кремля с дозорными башнями. Дома горожан и церкви, видневшиеся за зелеными кущами деревьев. Отсюда, из зрительного зала, все это, чуть освещенное неведомо откуда забравшимся лучом солнца, казалось не грубо размалеванными холстами, а прочным, несокрушимым, построенным на долгие столетия.

А вот хрустальные подвески на люстрах, те вроде бы казались и не настоящими. А так себе, какие-то прозрачные льдинки, невесть откуда и невесть как повисшие под потолком. Они мерцали, искрились, сияли и нежно звенели то все вразнобой, то вместе, слитно, будто вторили тому колокольному звону, который, не умолкая, тревожно плыл над Москвой...

Неожиданно перед мысленным взором Степана Акимыча возникла та зимняя вьюжная дорога, по которой он брел из Ярославля в Москву. Брел версту за верстой, версту за верстой, брел с одними лишь помыслами — найти Федора Григорьевича Волкова, умолить его, уговорить его, чтобы взял его, Степу Никонова, к себе в театр актером. Ибо неумоготу ему, Степану, жить без театра... И, глядя сейчас на этот красивый зрительный зал, вспомнился ему тот огромный холодный сарай, в котором шестьдесят лет тому назад в февральский день 1752 года был открыт первый на Руси театр... Вспомнил Ванюшку Нарыкова, красивого чернобрового паренька — теперешнего великого актера, корифея русской сцены, Ивана Афанасьевича Дмитриевского. Жили ведь по соседству: Ваня-то был сыном попа Нарыкова, а ему, Степке, отцом приходился дьячок той же Надеинской церкви Аким Никонов. От того Ванюшки Нарыкова и пошла у него, у Степы, неумная любовь к театру, которая не покинула его до сегодняшнего дня. Как-то позвал его Ваня не то холсты грунтовать для декораций, не то еще что-то делать. И с того дня приклеился он к театральным забавам, как муха к меду. Не было в его жизни слаще тех часов, какие удавалось провести вместе с Федором Григорьевичем и его товарищами. Счастлив был, когда его не гнали, когда позволяли бывать на репетициях или просто слушать их беседы или петь с ними песни.

Как та песня-то называлась? Та любимая, слова коей придумал сам Федор Григорьевич.

И, прорывая тишину большого зрительного зала, наполняя эту тишину своими звуками, донеслось из далеких ярославских времен:

О златые, золотые веки!  
В вас щастливо жили человеки,  
Не гордились и не унижались,  
Были равны все и благородны...

И вдруг возникло в памяти милое женское лицо... Как девушку-то звали, которая тоже прирастилась к театру, про которую Федор Григорьевич говорил, что талант у нее великий? Неужто забыл? Красивая была... Не Настя ли? Точно, точно, Настей ее звали, была крепостной господ Сухаревых. Уж как, бедная, убивалась, когда Федор Григорьевич Волков по приказу царицы Елизаветы Петровны со всей труппой уехал в Санкт-Петербург, а она осталась в Ярославле! Барыня ее не пустила. Говорили, Федор Григорьевич выкуп предлагал большой, чтобы вольную Насте дали, да барыня не пожелала. И никто переспорить ту барыню не мог... Говорили еще, будто Настя с горя хотела кинуться в Волгу. Не кинулась лишь потому, что надеялась: Федор Григорьевич уговорит царицу, чтобы царица помогла Настю выкупить. Крепко надеялась, этой надеждой и жила.

Как-то спустя много лет встретились они, Настя и Степа. Он-то ее не узнал, очень изменилась. Она его окликнула:

— Здравствуй, Степушка.

А голос у нее остался прежний — ясный, легкий, певучий.

— Настя, ты?

— Я и есть... — Улыбнулась ему. Потом тихо спросила: — Как живешь, Степа?

— Живу, — ответил он. И тоже спросил: — А ты как, Настя?

Она горестно усмехнулась, сказала:

— Видишь, и я живу, — а более ни слова.

И понял он, что хоть живут они, не умирают, но и его, и Настю снедает одна и та же тоска — великая, неумная тоска по театру. А Настю еще более, чем его. Ведь любила она Федора Григорьевича Волкова, ведь любила же...

Потом простилась с ним и побрела своей дорогой дальше.

Больше не пришлось им свидеться. Жива ли еще? Вряд ли...

Но после той встречи терпения не стало жить в Ярославле. Собрался и пошел в Москву.

Так, в мыслях об Ярославле, о Волкове, о Насте, убаюканный старинной песней, которую когда-то пели, и уснул Степан Акимыч в бархатном кресле первого ряда партера Арбатского театра...

\* \* \*

А в это время в деревне Фили, в девяти верстах от Москвы, в избе мужика Андрея Севостьянова подходил к концу военный совет, который созвал главнокомандующий всей русской армией фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов.

— Господа,— сказал он, завершая этот совет,— я слышал ваши мнения. Некоторые будут не согласны со мной. Но я властью, врученною мне государем и отечеством, я приказываю отступление.

Глубокой ночью Степан Акимыч пробудился от долгого и сладкого сна. Услыхал равномерную и тяжелую поступь многих солдатских ног, скрип обозных повозок, грохот проходившей через Москву артиллерии.

Было 10 часов вечера 1 сентября 1812 года. Русские войска по приказу Кутузова через Москву и в обход Москвы начали отступление на Рязанскую дорогу.

Москва была оставлена неприятелю. Началось осуществление гениального стратегического плана, погубившего Наполеона и всю его армию.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ, В КОТОРОЙ САНЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МОСКВУ

Тронувшись с Арбатской площади в три часа утра 1 сентября, обоз артистов взял сперва путь вдоль Тверского бульвара, затем, оставив справа Страстной монастырь, стал сворачивать на Тверскую улицу.

И тогда Саня, все еще не перестававшая плакать, услышала знакомый голос:

— Александра Лукинишна...

Неужто Алексашка? Поскорее утерла зареванные глаза. Оглянулась: он и есть!

Вынырнув из темноты, Алексашка подошел к той последней в обозе телеге, на которой сидела Саня. Спросил:

— Далеко ли, Александра Лукинишна?

Тайная надежда, что Федор в Москве и что Алексашка послан к ней именно Федей, сразу же мелькнула в мыслях Сани.

Готовая тотчас же, по первому зову, прыгнуть с телеги, она рванулась к Алексашке. Но сдержала себя. Еще плотнее уселась на узел с театральными костюмами, на котором приказал ей сидеть дедушка Акимыч.

Ответила сухо:

— Да уж не близко...— и прибавила с неохотой, однако же и чуть похвываясь: — Во Владимир, вот куда...

Алексашка присвистнул. Хоть вряд ли он знал, далеко или близко стоит город Владимир и есть ли вообще такой город на земле русской, однако присвистнул.

Она же была рада-радешенька, что в этой предрассветной мгле ему не разглядеть ее опухшего от слез лица. Но у Алексашки, видно, глаз был кошачий — и во тьме все видел. Взявшись одной рукой за край телеги, пошел рядом. Принялся утешать Саню:

— Да чего вы, Александра Лукинишна?.. Вон и давеча, как сбирались, все плакали.

— Ты откуда знаешь?

— Все время вас караулю. От самой от площади следом иду, глаз не спускаю.

Саня вся затрепетала: теперь была у нее уже не смутная надежда, а твердая уверенность, что Федя в Москве и Алексашка послан Федей. Значит, вернулся! Вот радость-то... Теперь никуда она не поедет! Ни шагу из Москвы...

Ах ты господи, да чего же он тянет? Почему молчит? Почему ни слова о Феде?

Алексашка же, будто Федора и на свете не было, толковал ей теперь о другом:

— Не горюйте, Александра Лукинишна. Не пустим мы супостата проклятого в Москву! Знаете, какая баталия будет? Как сшибутся с нами, одни клочья от тех французов полетят. Вот увидите.

— А ежели не пустим, уезжать-то зачем? В этукую даль, во Владимир...

И поняв, что не Федей к ней послан Алексашка (кабы Федей, давно бы ей о том было сказано), и вспомнив вдруг Степана Акимыча, такого маленького, такого старенького, оставленного в пустой Москве стеречь огромный пустой театр, Саня, уже не

таясь, зашмыгала носом, и слезы сами собой обильно поползли по ее щекам. Всклипнув, пробормотала:

— Дедушка ведь один остался...

У Алексашки от Санькиных слез вдруг непривычно защемило в носу. Спросил:

— Желаете, так схожу к нему? Только слово молвите...

И Саня молвила:

— Алексанюшка...

У Алексашки словно бы мороз по коже пробежал: ведь отродясь никто его так не называл. Алексанюшка? Может, слышался? Колеса-то как скрипят.

Она же снова:

— Алексанюшка, ты правда сходи к нему, к дедушке... Ты передай ему, дедушке...

Нет, колеса тут ни при чем. Какие еще колеса?

Ответил ей с грубоватой суровостью:

— Ну и передам... Что прикажете, то и передам. Да вы не ревите, Александра Лукинишна. Ведь эдак и я зареву.

А Саня пригнула свое лицо к его лицу. Близко-близко. Глаза к глазам. И руку свою, сырую от слез, положила на его руку. И зашептала ему.

Нет, никогда еще ни один человек с самого того часа, как появился Алексашка на свет, никто с ним так не говорил. Все только бранили его, только понукали им, только знал он подзатыльники, да затрешины, да пинки, да колотушки...

Алексашкино сердце сладко заныло. Дурман не дурман, а что-то вроде дурмана, непонятное, непривычное охватило его. Скажи ему сейчас Санька: «Достань мне, Алексанюшка, перо жарптицы...» — в пекло полез бы, всю землю исходил бы, а достал ей такое перо, чтобы радугой переливалось! Скажи она ему...

А Саня все шептала, все шептала: то про Анюту, то про Тверской бульвар, то про какого-то царя Эдипа да про актера Плавильщикова, то еще невесть о чем просила передать дедушке Акимычу.

Он же лишь в ответ головой кивал и буркал:

— Скажу... ну скажу... все скажу...

Но сам хорошенько не понимал, ни о чем она его просит, ни что ему надобно передать дедушке Акимычу. Только голос ее слушал. И век бы слушал, лишь бы говорила.

Полный доверия и благодарности, вдруг решился — заговорил о самом своем тайном:



— Сейчас вот что скажу вам, Александра Лукинишна... Ты слушай получше.

У Сани дух захватило: стало быть, так оно и есть — Федей послан! Может, сам Федор сей минутой выйдет к ней из темноты, как той зимней ночью... Не спросила, а словно сердцем выдохнула:

— Что?

Алексашка сунул руку за пазуху. В темноте сверкнуло острие ножа, светлое и блестящее.

— Вот чего у меня есть... Как начнется под Москвой баталия, и я там буду!

Санька отпрянула: о господи, очумел!

Зашептала сердито:

— Разве можно? Да что ты говоришь? Да из ума выкинь такое... Рехнулся, что ли? Ведь еще мал, посмотри на себя.

А он свое:

— Вот вы какая, Александра Лукинишна... Вам дело говорят, а вы — мал! Чем же я мал? Чем? Еще как могу пригодиться... Увидите, Александра Лукинишна! Еще, может, не одного француза вот этим ножом...

Тут передние телеги обоза пошли быстрее, и та, на которой сидела Санька, рванула за ними. Саньку тряхнуло на ухабе, она еле удержалась и невольно вскрикнула. Возчик обернулся и увидел Алексашку. Грозно на него прикрикнул:

— А ну-ка, сгинь, шельмец! — и, размахнувшись, огрел его кнутом. — Знаю вас, мазуриков...

Алексашка громко выругался и оторвал руку от телеги. Сперва быстрым шагом пошел было рядом, но вскоре стал отставать. И тогда Санька не удержалась: почти с отчаянием крикнула в темноту:

— Про Федора чего молчишь? Почему не рассказываешь? В Москве он?

Ничего не ответил Алексашка. То ли ничего не знал о Федоре, то ли не слышал ее вопроса.

Ох, Санька, Санька, неужто так крепко сердце твое присохло к красивому сбитенщику? Крепко, крепко, может, на всю жизнь, может, до самого смертного часа...

Сухими, без слез, глазами стала смотреть в небо. Там во множестве рассыпались крупные сентябрьские звезды. Время от времени, наискось прочертив черноту, то одна, то другая камнем скатывалась вниз. Только одна-единственная стояла не шелох-

нувшись — та, светлая, огромная, похожая на огненный меч, поднятый для сокрушительного удара.

Между тем обоз уже подходил к заставе. Вдоль всей Тверской дома, покинутые своими владельцами, стояли темные, нежилые, с заколоченными ставнями, запертыми воротами. Редко-редко где светились окна.

Но и за этими освещенными окнами виднелась суeta, беготня. А в распахнутых настежь воротах уже стояли телеги с вещами, готовые отправиться в путь. Уезжали те, кто почему-либо раньше не мог покинуть Москву.

Чтобы поскорее — без волокиты и задержек — пробраться на Троицкую, а затем на Владимирскую дорогу, еще с вечера был выбран путь через Тверскую заставу. Этой дорогой немногие выезжали в те дни из города. А в эту раннюю пору улицу и вовсе не запрудили еще экипажи, потому обоз артистов сравнительно быстро прибыл к заставе. И вдруг Санька с изумлением увидела, что небо, поля и леса за селом Хорошовом, за Дорогомиловом и Филями озарены ярким розовым светом, будто солнце только-только успело зайти и не погасли его закатные лучи ни на небе, ни на земле...

Санька тронула возницу за рукав, показала на озаренное розовым светом небо: что за диво? Откуда свет в той стороне?

Тот хмуро ответил:

— Там-то? Они... французы...

Санька негромко охнула. Быть не может! Так близко? Ведь у самой у Москвы.

Возчик изо всех сил махнул кнутом, свирепо гаркнув:

— Чего стали, окаянные? А вот я...

Но не только их телега стояла. Остановился весь обоз. И все головы были повернуты в ту сторону, где светились огни. Слышались голоса, растерянно вопрошающие друг у друга:

— Ужель французы?

— Надо думать, их бивуаки...

— А наши-то где?

— Наши-то позиции тоже там?

— Значит, там будет сражение?

И вдруг раздался громкий вопль. Санька узнала голос Лизаветы Семеновны Сандуновой.

— Пресвятая заступница, да что ж это? К самой к Москве подошли...— И в голос, по-бабьи, она горестно заплакала и запричитала.

Да и не только она одна. Плакали многие, ужасаясь бивуачным кострам неприятеля в такой близости от Москвы.

Для Саньки же после того солнечного июльского дня, когда она впервые узнала про войну, в которую ей не хотелось верить, для нее война только сейчас стала страшной очевидностью. Она невольно перекрестилась. Именно с этой минуты впервые засверлила у нее мысль о том, что ей непременно надобно вернуться обратно в Москву. И чем дальше отъезжали они от Москвы, чем незримее становились те огни, от которых она не могла оторвать взгляда, тем непреклоннее овладевало ею это решение.

Когда совсем рассвело и солнце, румяное и веселое, поднялось на небо, их обоз, давно миновав Тверскую заставу, оставил за собой Марьину рощу, возле села Алексеевского выехал на большую Троицкую дорогу.

Все время Санька отмалчивалась и лишь прилежно запоминала путь, по которому ночью пойдет обратно. Почему не сейчас, когда Москва была рядом? Почему обязательно ночью, когда легче всего заблудиться и потерять дорогу? Вероятно, она все еще колебалась, еще не решаясь сделать этот отчаянный шаг. А может, страшилась, что ее не пустят?

На Троицкой дороге их обоз неожиданно оказался в гуще экипажей, выехавших из Москвы еще накануне вечером. Теперь теснота мешала им двигаться вперед с прежней скоростью. Кибитки, таратайки, старинные дормезы, кареты, коляски, телеги ехали в несколько рядов. Треск и шум стояли невообразимые. К тому же вперемежку с экипажами гнали коров и овец, а следом за своими хозяевами во множестве бежали дворовые собаки.

В иные легонькие дрожки были впряжены пять или шесть лошадей, а какой-нибудь тяжелый дормез с превеликим трудом волокли две старые клячи. И каждый экипаж старался опередить соседний.

С ужасом, с недоумением разглядывала Санька эту толпу, спешившую поскорее покинуть свои дома и подальше отойти от Москвы. Она не могла понять: ведь ежели, как толкуют все в один голос, Бонапарта не пустят в Москву, так надобно ли уходить неведомо куда и неведомо зачем?..

Поздно вечером их обоз прибыл в село Мытищи. Здесь решили остановиться на ночлег. Было это примерно в тот самый час, когда после окончания военного совета Кутузов отдал приказ о сдаче столицы без боя и русская армия стала отходить на Рязанскую дорогу, покидая свои позиции под Москвой.

Ночью, истомленные дорогой, дневной сутолокой, пылью и жарой, все уснули. Тогда Санька — она-то, несмотря на усталость, крепилась и ни на секунду не сомкнула глаз — незаметно соскользнула с телеги. Захватив с собой лишь узелок с хлебом, она, выбравшись из гущи телег и экипажей, вышла на обочину дороги и скорым шагом направилась в ту сторону, где была Москва. Без отдыха она шагала всю ночь. К рассвету же так устала, что, когда увидела возле дороги березовую рощу, свернула туда. Отыскала среди молодой поросли уединенное место и, сраженная усталостью, не чуя под собою ног, повалилась на землю и тотчас уснула.

Спала она долго и крепко, не могло пробудить ее даже наступившее утро. Лишь на секунду открыла глаза, когда солнечный луч, пробравшись сквозь листву, пригрел ей щеку. Улыбнулась теплу, улыбнулась маленькому облачку, которое увидела над головой, улыбнулась синице, прыгавшей на ветке, и тут же снова, смежив ресницы, уснула еще крепче.

Проснулась она, когда солнце было высоко, а вся роща звенела от бойкого птичьего гомона. Почему-то ей подумалось, что до Москвы рукой подать и что к вечеру она непременно будет дома. Не торопясь переплела косу, пожевала хлеб, заедая его ягодами брусники и черники, которые обирала вокруг себя. Пожалела, что не может напиться и сполоснуть водой лицо.

Бодрая, хорошо отдохнувшая, поднялась с земли, стряхнула с сарафана сухие веточки, травинки и направилась к дороге. Шла не спеша, петляя между березками.

С великой радостью стала думать о своем возвращении в Москву. Себя стала хвалить: молодец, Санька, так и надо было! Какой еще там Владимир, когда дедушка Акимыч один-одинешенек остался? А теперь будем вместе театр стеречь. Ни одна искорка не упадет на крышу. И Анюту уговорим к ним перебраться.

Потом с нежной усмешкой представила себе, как разгневается дедушка Акимыч, когда увидит ее. Может, в сердцах и ногами затопает... Это — по первости. А потом сменит гнев на милость и начнет вокруг нее хлопотать: пойдет звенеть — сударушка, да сударушка, да сударушка... Родней родного стал он ей за этот год!

А вдруг и Федор в Москве? Нахмурилась: а что, ежели правда вернулся, да глаз не кажет? Страшно подумать об этом...

Но мысли о Федоре отогнала прочь. Уж очень славно было

вокруг. И, любуясь осенним убранством берез, наслаждаясь свежестью этого солнечного сентябрьского дня, Саня на какое-то короткое мгновение словно бы забыла обо всем, что томило ее последнее время. И про войну забыла. И о Федоре забыла. И об актерском обозе, откуда сбежала нынешней ночью, и об этом не хотелось вспоминать.

Шла и даже про себя тихонько напевала. Песню не песню, а не поймешь что... Потом вдруг вспомнилось, как зимой смотрела трагедию «Федра». Хороша была в ней мамзель Жорж. Что и говорить — распрекрасна!

Ни с того ни с сего остановилась, воздела руки к небу и заговорила нараспев, вроде как Жорж:

О солнце! Я тебя в последний вижу раз!  
Хвала богам, сих рук злодейство не сквернило.  
Ах! если б сердце так мое невинно было...

Сказав это, засмеялась: ну и глупа ты, Александра! Нашла время трагедии представлять — ведь война же у самой Москвы... Сейчас баталия...

Странный гул донесся к ней вдруг с дороги, куда она сейчас направлялась. Неужто и сегодня из Москвы люди бегут? Нет, это был не тот беспорядочный многоголосый гул — и детского плача, и скрипа колес, и блеяния овец, и мычания коров, — это было не похоже на те утомительные и беспорядочные звуки, которые слышались весь вчерашний день, едва их обоз оказался среди других обозов на Троицкой дороге.

Сейчас к ней доносился равномерный и тяжелый топот многих ног, отдельные выкрики команды, изредка ржание коней.

Продираясь сквозь кусты, не обращая внимания на ветви, больно хлеставшие ее по лицу, Саня кинулась напролом к дороге. Увидела: по дороге идут русские войска. Однако не в ту сторону, куда она собиралась идти, не к Москве, а от Москвы. А может, все-таки к Москве? Может, это она шла не туда, куда надобно, а солдаты идут именно в Москву, на подмогу тем, кто сейчас в жестокой баталии защищает город от француза?

Невидимая с дороги, но хорошо все видя, Саня, спрятавшись за ствол дерева, смотрела на сумрачные лица солдат. Не понимала, почему же лица у них такие, словно идут они с похорон.

Изредка к ней доносились отдельные слова, иногда фразы.

Со жгучим напряжением прислушивалась она и к словам и к фразам. Однако смысл их был ей непонятен.

Но чем дольше она смотрела на сумрачные лица солдат, тем страшнее ей становилось. Предчувствие беды заполнило ее. И, сама не зная, зачем и почему, она метнулась обратно в лес, так и не поняв, откуда и куда идут войска.

А по дороге шел арьергард армии, прикрывая собой последних жителей, уходящих из Москвы. Это были те несколько тысяч казаков, которые затем по приказу Кутузова должны были с Владимирской дороги повернуть на дорогу Рязанскую, чтобы затем слиться с остальной русской армией и начать тот хитрый маневр, который поставил в тупик Наполеона и его военачальников.

\* \* \*

Примерно в те же самые часы французские войска готовились войти через Калужскую заставу у Воробьевых гор, через заставы Пресненскую, Тверскую и Дорогомиловскую в пустую, покинутую жителями Москву. Готовились вступить победителями — с музыкой и барабанным боем, так приказал им Наполеон Бонапарт.

Сам же он около двух часов дня сел на лошадь и верхом, окруженный блестящей свитой, направился на Поклонную гору.

В те годы верхушку Поклонной горы покрывала дубовая роща. Проехав эту рощу, он остановился. Щедро освещенная лучами солнца, как бы у его ног раскинулась Москва. Блестели золотые купола многочисленных московских церквей, на них сияли золотые кресты. Зеленели сады, окружавшие дворцы московской знати, а вдали высились башни Московского Кремля.

— Так вот он наконец, этот знаменитый город! — воскликнул Наполеон. И, помолчав, прибавил: — Давно пора!

Отсюда ему казалось, что великолепный позлащенный город многолюден и живет полной жизнью. Ему казалось, что в каждом доме если не с радостью, то, во всяком случае, с покорностью ждут великую армию и его, великого полководца — императора Франции Наполеона Бонапарта. Он был убежден, что повторится то, что было во всех прежде завоеванных городах: в Риме и в Милане, в Берлине и Вене, в Лисабоне и Мадриде, в Антверпене и Амстердаме, в Каире и Александрии... Депутация самых

именитых жителей города с низким поклоном преподнесет ему ключи от завоеванной Москвы.

И взгляд Наполеона с жадным нетерпением был устремлен на Москву. За стенами этого города скрывались все его надежды: мир с Россией, который был ему необходим; покрытие военных издержек, выросших до невероятных размеров; и, наконец, его слава — слава великого полководца!

Со жгучим интересом он разглядывал этот город, блистающий в лучах солнца. Когда же все-таки появится депутация? Почему они медлят и заставляют его так долго ждать?

Он приказал дать несколько холостых выстрелов.

Но и это не возымело никакого действия. К нему на Поклонную гору по-прежнему никто не являлся.

Беспокойство охватило Наполеона. Теперь, уже спешившись, он ходил взад и вперед. Изредка останавливался, смотрел на Москву и снова шагал — взад-вперед, взад-вперед... А спустя какое-то время, обратившись к своей свите, спросил: почему же все-таки не является депутация русских бояр с ключами от Кремля?

Между тем разведчики донесли, что Москва пуста. Не решились доложить Наполеону, что город покинут жителями и никакой депутации с ключами от Кремля не будет. Свита Наполеона испуганно перешептывалась.

А время уже подходило к тому часу, когда с колокольной Ивана Великого раздавался благовест, призывавший молящихся к вечерне. Тяжелый звон пронесся над Москвой и внезапно смолк: оттуда, с колокольной, увидели входивших в Москву французов. Зловещей тишиной встречала Москва победителей. Ничего подобного не было ни в Риме, ни в Вене, ни в Мадриде, ни в Берлине...

Стук копыт неприятельской конницы одиноко раздавался в пустом городе.

Разгневанный и недоумевающий, ночь на 3 сентября Наполеон провел в доме трактирщика у Дорогомиловской заставы.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

В КОТОРОЙ САНЯ, ВОЗВРАТИВШИСЬ В МОСКВУ, ВИДИТ  
САМОГО НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА И ТЕРЯЕТ ВСЕ

А Саня в ночь на 3 сентября была еще очень далеко от Москвы. Быть может, и подалее, чем накануне вечером. Кинувшись от дороги обратно в лес, в лесу она заблудилась. А когда после долгих блужданий вышла наконец на опушку, не могла понять, ни где находится, ни в какую сторону ей надобно идти.

Перед нею расстиралось чисто убранное жнивье, неподалеку в овражке, переливаясь, журчал ручей, а слева высилась пологая горушка.

И спросить не у кого. Хоть зови, хоть кричи — на виду никого, ни одной живой души...

А погода вдруг круто переломилась. На смену по-летнему солнечному и теплomu дню наступали осенние сумерки. С севера потянуло холодным ветром. Мелко-мелко задрожали листья на осинах и с каждым порывом разноцветными стаями полетели к земле. Березы во все стороны закачали, замахали верхушками.

Осень. Чего другого ждать от погоды?

Поразмыслив, Саня решила прямо по стерне лезть на горушку. Может, сверху будет виднее — что впереди, куда идти?

А добравшись доверху, в наступивших уже сумерках сразу увидела далеко-далеко, почти на краю неба, розовое зарево. Это зарево было от тех первых московских пожаров, которые занялись уже к вечеру 2 сентября.

Но о том, что зарево от пожаров, Сане, разумеется, и в голову не пришло. Она поняла так: вдалеке видны те самые огни французских бивуачных костров, которые так испугали ее, когда давеча подъехали они к Тверской заставе.

Но теперь этим огням она радовалась. Она знала, в какую сторону ей идти.

Но еще больше она обрадовалась, увидев под горой небольшую деревеньку. Тотчас подумала: «Попрошусь к кому-нибудь на ночь, а ранехонько пойду в Москву. Чего там — ведь совсем недалеко! К вечеру или еще раньше и приду. То-то обрадуется дедушка!..»

От этих мыслей сразу ей стало хорошо и весело. Даже про голод забыла. Даже усталость прошла. Перестали ныть стертые в кровь ноги.



Несколько раз она осторожно, чуть коснувшись стекла, стукнула в оконце самой крайней избы. Открывать ей, однако, не топились. Хотела было уже отойти, да услышала под дверями шепот. Два голоса, перешептываясь, спорили. Один — тоненький, похоже детский. Второй — шамкающий, старушечий.

— Да нет, не они, бабонька...— Это шептал детский голосок.— Не французы это...

— А как они?

— Они разве так брякают? Они изо всех сил.

— Ой, боязно, внученька! Ну как вломятся?

Тут Саня решила подать свой голос:

— Пустите, бабушка, Христа ради переночевать. Озябла...

И сразу весело, уже не таясь, затараторил ясный детский голосок:

— Слышь, бабонька? Не они ведь... не они же! Я отомкну.

— Отмыкай, Дашутка.

Загремела щеколда, и дверь приоткрылась. На Саню пахнуло обжитым, чуть кисловатым теплом избы. Сразу засосало под ложечкой от запаха печеного хлеба: ведь полный день крошки во рту не было!

Она вошла и услышала залиvistый плач ребенка.

— Наказанье...— прошамкала старуха.— Сноха-то уехала на мельницу. Спозаранку уехала, а все не ворочается. Покачай, Дашутка. Дай ему соску... Ох, беда, беда!

Засветив сальный огарок в глиняном подсвечнике, бабка с пристрастием оглядела Саньку с ног до головы. Тут же стала спрашивать: да кто она, да что она, да куда ее несет, на ночь глядя.

Узнав, что Санька держит путь в Москву, охнула. О господи, до Москвы ведь даль несусветная! А кругом злодеи-антихристы рыщут. Вот они с Дашуткой сидят не шелохнутся, весь день дверь на запоре.

Саня, хмурясь, сказала:

— Надобно мне в Москву. Дедушка там у меня. Переночевать-то пустите? Утром дальше пойду.

Услышав о дедушке, бабка и вовсе подобрела:

— Да кто ж тебя гонит? Оставайся. Лезь на печку, там и спи. Голодная ведь?

— Голодная...

— Сядь, поесть тебе соберу.

Только успела Санька поесть, хотела было на печь забраться,

вернулась с мельницы старухина сноха. Вернулась чуть живая — и без зерна, и без муки. Плача навзрыд, рассказала, как налетели на нее басурмане, всю муку, которую с мельницы везла, отняли. Ни горсточки, окаянные, не оставили. Сама-то еле-еле от охальников укатила.

И сноха, услышав от старухи, что Саня в Москву собралась, тоже заохала и руками на нее замахала. В Москву? Да упаси бог в Москву! Рехнулась, видно. Москву ведь француз захватил...

Санька не поверила: ведь только вчера поутру они выехали из Москвы.

— А эти уже вчера вошли. Хозяйствуют там.

— А баталия как же? — ужасаясь и все еще продолжая не верить, вскричала Санька. — Ведь сказывали, что без баталии не отдадут Москвы.

— Про баталию ничего не знаю, а что в Москве они — это точно, — сказала молодуха и снова принялась плакать и причитать, вспоминая, как у нее отняли муку.

Утром, едва рассвело, Санька собралась идти. Как ни уговаривали, стояла на своем: надо ей в Москву. Дедушка там. Совсем один.

— Да как же ты пойдешь, да еще в таком платочке приметном? Неужто не боишься? — спросила молодуха.

Санька сдернула с головы свой алый шелковый платок. Спросила:

— Постарее да потемнее дадите?

У молодухи зажглись глаза:

— А этот куда?

— Тебе оставляю, — сказала Санька и кинула той на руки платок, которым так гордилась. Потом повязалась по самые брови старушечьим, темным, и вышла из избы.

А ветер стал еще сильнее, чем накануне. Так и рвал, так и метал. Почти к самой земле пригибал придорожные кусты. Иной раз приходилось идти вроде как напролом, плечами и головой пробивая себе дорогу. Но все равно шла и шла вперед, думая лишь о том, чтобы поскорее добраться.

А о пожаре Москвы она так ничего и не знала. Клубы дыма, которые поднимались над горевшей Москвой и плотной завесой стояли над городом, казались ей густыми тучами.

И лишь к вечеру, когда стемнело и когда Москва была уже недалеко, она с ужасом поняла, что над Москвой сгрудились

вовсе не тучи, что это дым от большого пожара, охватившего весь город. И дым этот, теперь окрашенный пламенем, был багров и страшен.

И Саня побежала. Она бежала и громко плакала. Она бежала прямо на зарево, уже не боясь сбиться с дороги. Теперь свет от пожара был столь ярок, что освещал не только горевшую Москву, но и небо над ее головой, но и каждый камешек на дороге.

Это было в ночь на 4 сентября.

\* \* \*

Утром 4 сентября император Франции Наполеон Бонапарт проснулся в Кремле при двойном свете — дня и пламени. Но свет наступившего дня не мог соперничать со светом пожара, бушующего за окнами дворца.

Еще вчера, когда он перебирался из дома трактирщика сюда в Кремль, Москву окутывали клубы дыма. Зловещие рапорты преследовали его весь день, мешая насладиться победой и торжеством.

Ему доносили:

— Горит центр города, самые богатые кварталы, где магазины, лавки, склады...

— Сгорел дом, где три тысячи русских раненых...

— Горят великолепные дворцы, горят дома горожан...

Ему докладывали: едва лишь солдаты великой армии приблизятся к какому-либо дому, как внутри раздается легкий треск, поднимается тонкая струйка дыма. Затем эта струйка становится густой и черной, превращается в багровый, огненный столб, и все здание рушится в вихре пожара...

Вчера он еще надеялся, что за ночь пожар удастся потушить. Но, пробудившись нынешним утром, он понял, что огонь усилился во много крат. Город превратился в огромный пылающий костер.

И сейчас, шагая по великолепным апартаментам Кремлевского дворца, уже не с упоением победителя, но обеспокоенный и раздраженный, Наполеон отдавал приказ за приказом, наверняка зная, что никто его приказы выполнить не в силах. Пламя пожирало город на его глазах, а он был бессилен. Он бормотал, то и дело кидая взгляды на огонь, бушующий за окнами:

— Этот пожар... Он предвещает нам великие бедствия...

Ветер все время менял направление. Словно разъяренный

мститель, перебрасывал пламя из одного квартала Москвы в другой. Отсюда, из дворца, не смея приблизиться к раскаленным стеклам окон, Наполеон видел, как занялась уже и та часть Москвы, которая находилась за рекою.

Нет, он чувствовал себя сейчас не победителем. Скорее побежденным. Москва встретила его не покорностью и страхом, а ненавистью и пожаром. Город, которым он любовался с Поклонной горы, превращался в груды развалин, в угли, золу, пепел...

И сам он был пленником огня и дыма. Горящие головни, искры, пламя с ураганной силой ветер приносил уже сюда, в Кремль. Казалось, даже небо пылает пожаром. Оно было цвета красной меди...

И вдруг раздались испуганные возгласы:

— В Кремле пожар...

— Горит Кремль...

— Огонь в башне над арсеналом...

Неужто все было обречено разрушению? Даже эта священная обитель русских царей?

— Ваше величество! Отсюда нужно уходить, ваше величество! И немедленно...— в один голос убеждали Наполеона все его приближенные.— Против дворца стоят ящики с порохом.

Через узкий подземный ход возле Тайницких ворот Наполеону с ближайшей свитой удалось выбраться из Кремля. Они вышли на набережную. Но и здесь бушевало море огня. Даже вода в реке казалась огненной. Им нельзя было ни отступить, ни остановиться, ни двигаться вперед...

Всего лишь одна улица, извилистая и узкая, вся охваченная огнем, открывалась перед ними. Это был скорее вход в ад, чем выход из него. Все бросились в этот проход. Они шли по огненной земле, под огненным небом, среди огненных стен. Дышать этим раскаленным воздухом было почти невозможно. Руки у всех были опалены — им приходилось, защищая от огня лицо, отбрасывать прочь горящие головешки...

Так описывает в своих мемуарах бегство Наполеона из Кремля граф де Сегюр, один из приближенных генералов Бонапарта.

Наконец солдаты первого корпуса, занимаясь грабежом и мародерством, среди пламени пожара узнали своего императора, кинулись к нему на помощь и вывели к одному из кварталов Москвы, который уже обратился в пепел.

Именно здесь, среди развалин, которые еще недавно были домами Арбата, Саня увидела группу военных, окружавших невысокого человека в сером сюртуке и треугольной шляпе. Военные эти тесно сгрудились возле человека в треугольной шляпе, казалось, готовые защитить его своими телами от любой опасности, которая угрожала или могла угрожать тому на пути.

Саня спряталась за трубу, торчавшую среди развалин прямо из земли. Еще горячей была эта труба. Еще не остывшей была и земля после пожара, который бушевал тут весь вчерашний день и всю ночь до самого утра.

Озираясь по сторонам, она с трудом верила себе, своим глазам, что эти развалины, эти трубы, эти груды угля и обгоревшего кирпича,— тот самый Арбат, который всего лишь пять дней тому назад она перебегала, чтобы попасть в Скатертный переулок. И все же она точно, безошибочно знала: кругом то, что было недавно красивой Арбатской улицей...

Увидя проходивших мимо военных, вряд ли догадывалась она, что среди них в обгоревшей и закопченной одежде находится сам император Франции — Наполеон Бонапарт, человек, по вине которого сейчас горела Москва. Поняла она лишь одно: эти военные — враги, погубившие Москву.

Быстрым шагом они прошли в сторону Дорогомиловской заставы, чтобы укрыться от московского пожара в загородном Петровском дворце.

Этого-то, разумеется, Саня не знала. Да и дела ей не было до французов, среди которых находился Наполеон. Она и головы не повернула им вслед. В оцепенении стояла и смотрела на выжженную пустыню...

Еще вчера под вечер она оказалась на окраине Москвы, недалеко от Тверской заставы. Но войти в город не решилась: все было застлано густым черным дымом, все было объято пламенем. Огонь, выбиваясь из проема окон, свистя и шипя, разваливал стены и крыши домов. Даже издали жар опалял лицо. Страшно было смотреть, как метались люди, вытаскивая из горящих домов свои пожитки. То тут, то там был свален в кучи жалкий домашний скраб. И сразу пришло в голову: а батюшка, а мачеха Степанида, а сестрицы Любаша и Марфуша? Они-то где? В Москве или уехали? А может, сейчас горят и тоже выкидывают из избы вещи? Может, помощь им надобна?

Но когда она оказалась за селом Кудрином, возле Пресненских прудов, удивительная тишина поразила ее. Огонь сюда не

перекинулся, все стояло нетронутым — и дома, и сараи, и деревья. И здесь пахло дымом и гарью, но от прудов тянуло свежим холодком, а жители, толкаясь у ворот и околиц, лишь издали ужасались страшному пожару, который пожирал Москву.

Саня подошла к тесовому забору, который окружал ее прежний дом, хотела открыть калитку и не открывала: услыхала голос мачехи Степаниды, приглушенный до шепота. Однако слышно было каждое слово.

— Сюда, девоньки... Тут зароем! Забросаем землей, поверх листьями...

— Ой, мамынька, нельзя, тут к забору близко...

Это голос Любаши, старшей сестрицы. И тут же подголоском зашептала Марфуша:

— Под грушу, под грушу, мамынька. Оно вернее. Говорю, вернее...

Саня отошла от забора. Подумала: «Эти всё о своем. Хоть дотла сгори Москва, для них все равно. Лишь бы свое сохранить в целости. А батюшка где же? Его голоса почему не слышать? Или совсем его со света сжили?»

Эту ночь провела она в одном из брошенных сараев.

А теперь она стояла там, где прежде была Арбатская улица со всеми переулками. Еще более, нежели зрелище самого пожара, ее потрясало это выгоревшее, пахнувшее смрадом и дымом пространство. Лишь церковь Николы Явленного, куда они с дедушкой ходили по воскресным дням, стояла опаленная, покрытая сажей, но стояла... Какие-то люди (не свои, не русские, а чужие, враги, французы) сутились, вытаскивая на паперть иконы и дорогую церковную утварь. И радовались серебру и драгоценностям, которыми удалось овладеть...

Еле волоча ноги, Саня побрела в ту сторону, где должна была находиться Арбатская площадь. Она все еще надеялась, вопреки всему надеялась, что среди пожарища по-прежнему стоит любимый ею театр. Заколдованный от огня, недоступный огню, стоит красивый, величавый, окруженный белыми колоннами... И когда она увидела лишь пустырь на том месте, где должен был находиться театр, лишь пустырь, покрытый золой и пеплом, она повалилась на землю и заплакала. Мерешилось ей в ту минуту, что, останься она здесь, уберегла бы вместе с дедушкой Акимычем и стены, и колонны, и весь театр от страшного московского пожара.

Захлебываясь слезами, она шептала:

— Дедушка, дедушка, зачем вы усадили меня? Зачем, глупая, я уехала? Дедушка, дедушка...

О гибели Степана Акимыча она еще ничего не знала. Но с гибелью театра казалось ей, что потеряла она все, что было этот последний год смыслом и радостью ее жизни...

И вдруг среди пепла, еще теплого, почти горячего, что-то сверкнуло. Это была хрустальная подвеска от большой люстры зрительного зала, последнее и единственное, что осталось от прежнего великолепия театра. Каким-то чудом уцелев, она сияла Сане радужно, весело, переливаясь всеми своими хрустальными гранями...

## ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЭПИЛОГОМ

С тех страшных дней прошло без малого восемь лет. Шел 1820 год.

В один из февральских дней этого года молодой купец из Москвы Федор Иванович Титов проездом из Архангельска, где он вершил дела своего богатого тестя, оказался в Вятке, небольшом губернском городе тогдашней России. Буран загнал его сюда, и он томился здесь вторые сутки. И сейчас, сидя в трактире и глядя, как за окнами крутыми воронками завивается снег, он зевал и злился. Ему казалось, что непогода задержит его тут надолго. А скука заедала, да и торговые дела, ради которых он был в Архангельске, того не позволяли. Надо было скорее ехать в Москву.

Он смотрел в окно. А за окном крутила, вертела метель.

— Сходили бы, сударь, в театр,— посоветовал трактирный слуга, убирая с его стола послеобеденную посуду.— Ныне-с как раз представление...

Федор Иванович зевнул:

— Как, и театр имеется в здешнем городе?

Слуга вроде бы даже обиделся:

— А как же-с. Весьма даже имеется!

— И хорош?

— Люди ходят. А в нынешнюю зиму и вовсе отбою нет-с...

Федор Иванович снова зевнул. Подумал: спать, что ли, зава-

литься? Самое разлюбезное дело при этаких обстоятельствах. Однако же, поднявшись из-за стола, осведомился:

— А ныне-то по какому такому случаю народ зачистил?

— А потому, сударь мой, что в нашем театре на всю эту зиму некая актерка из Санкт-Петербурга подрядилась представлять трагедии и комедии...

Федор Иванович прислушался. С молодых лет был он большим театралом и частым посетителем московских театров.

А трактирный слуга продолжал:

— Сам не видал-с, а люди сказывают: красоты сия актерка неопикуемой... К тому же и молода! А гордости еще того больше. Всех отвергает-с... Еще ни единого подношения не приняла. Даже самому господину Пряхину кошелек обратно кинула. Вот какова-с... А говорят, в том кошельке золотых червонцев было чуть ли не на тысячу.

И получилось так, что вьюжным февральским вечером Федор Иванович отправился взглянуть на петербургскую актерку, которая в ту зиму играла на подмостках вятского театра и, по словам слуги, сводила с ума всех жителей города.

В тот вечер давали трагедию Озерова «Эдип в Афинах», пьесу, хорошо знакомую Федору Ивановичу. «Что ж,— подумал он,— коли будет очень плохо, уйду со второго акта. Кто станет меня неволить смотреть до конца?»

Подойдя к театру, он сразу понял, что здание строилось силами доморощенными и рука настоящего архитектора его не касалась. И внутри все было без особых затей: по обе стороны зрительного зала располагались ложи, над ними раек. Перед креслами партера в несколько рядов стояли простые скамейки. Сей порядок, несходный с прочими театрами, сперва удивил Федора. Но, поразмыслив, нашел он разумную причину: сцена освещалась площадками с салом, а потому чем далее в глубину зала, тем менее страдало обоняние от смрадного духа. У самого же Федора Ивановича Титова по совету кассира билет был взят в кресло третьего ряда.

Заняв свое место, он огляделся. В занавесе зияли две изрядного размера дыры. В них то и дело показывались чьи-нибудь глаза, иной раз с носом и даже пальцами. Оттуда, со сцены, интересовались: много ли народу в зале, не пора ли начинать спектакль?

Возле самой сцены, сбоку, виднелась почерневшая от копоти дверка, ведущая за кулисы.



Вскороости занавес поднялся, и спектакль начался. Федору Ивановичу все здесь было не по нутру: и плохая игра актеров, и бедные декорации, и неважные костюмы. Он ушел бы, не досмотрев, да любопытство держало: решил дожидаться второго акта, глянуть на петербургскую диву, о которой в трактире толковал слуга.

И вот началось второе действие.

Едва Антигона в длинных белых одеждах вышла из-за кулис со своим слепым отцом Эдипом, едва произнесла первую реплику, мурашки побежали у Федора по спине.

О господи... Неужто? Саня? Быть не может! Почудилось ему... Здесь, в Вятке? Нет, нет, это лишь игра его воображения. Надо же придумать, чтобы та девочка стала актрисой!

Но чем далее он смотрел, тем убежденнее становился, что видит он Саню. Да, да, ту самую Саню, которую однажды привел в театр, а потом полюбил.

Повернулся к соседу. Спросил фамилию актрисы. Тот ответил. Однако фамилия ничего ему не подсказала. Впрочем, знал ли он в те далекие годы Санину фамилию? Вряд ли...

Но вот Антигона, положив на плечи слепого отца своего руки, произнесла мягко и проникновенно тем Саниным голосом, который он столько раз слышал:

Я не боюсь терпеть презренну нищету;  
С отцом пещеры мрак чертогу предпочту;  
Всем бедствам за него охотно подвергаюсь.

И последние сомнения оставили Федора.

Это была Саня!

Все всколыхнулось в его памяти. Будто не годы, а лишь немногие дни отделяли его от того часа, когда увидел он девочку в алом платке, которая понравилась ему с первого взгляда. И потащил он ее в Арбатский театр, в раек... Вот ведь случай какой! Ведь смотрели они как раз озеровскую трагедию «Эдип в Афинах»...

И все встречи вспомнились ему. И та последняя, когда ночью прощались они возле колонн театра перед его отъездом из Москвы.

Где же она была все это время?

Он-то надолго застрял в Ярославле. Хозяин купил там не один, а два дома. Там же открыл не одну, а две лавки.

Сперва он, Федор, очень скучал по Сане. Думал беспрестан-

но. Рвался в Москву. А как узнал про московские пожары и что от Арбатского театра остались одни лишь головешки, сразу сник. Зачем ему была Москва? И разве Саня могла быть в Москве после такого пожара? И разве узнать ему, где она.

А потом дела завертели. Завертели, закрутили, и все реже и реже вспоминалась ему Саня, а потом и вовсе забыл. Лишь иногда в памяти мелькнет ее лицо. Мелькнет и пронесется, будто светлая звездочка по ночному небу...

Он насилу дождался конца второго акта. Едва спустили занавес, кинулся к той дверке, которая вела за кулисы.

Публика галдела: «Фора! Фора!» Топала ногами, всплескивала ладонями. А он не мог понять, как она играла, хорошей ли была актрисой. Сейчас думал лишь об одном: увидеть ее... Сейчас ему казалось, что все восемь лет он только и думал о ней, только и ждал этой встречи. Так, может, мало он ее искал? Плохо искал?

— Вам кого, сударь? — спросил служитель театра, когда Федор оказался за кулисами.

Федор назвал фамилию актрисы.

Но его не пропустили. Ответили, что пускать, мол, строгонастрого никого не велено.

Тогда Федор, торопясь и волнуясь, написал:

«Ежели Вы та самая Саня, дозвоьте увидеть Вас. Федор».

Когда Сане вручили записку Федора, ее сердце словно перестало биться, закружилась голова. Словно бы комната перевернулась вверх тормашками.

Федор?

Неужто Федя?

О боже праведный, нашел ее! В этой далекой Вятке. Стало быть, искал? Хотел найти? Тосковал по ней все эти годы, ежели в поисках занесло его в такую глушь...

— Пусть идет, — приказала она подавшему ей записку. — Проси...

Прижав руки к груди, не дыша, смотрела она на дверь. Какое же свершилось чудо! Спустя столько лет, уже потеряв всякую надежду, она все-таки сейчас его увидит...

И она расскажет ему, как ждала его каждый день все эти годы. Она расскажет, как все время, пока злодеи были в Москве, бегала она на Арбатскую площадь. Как, хоронясь в развалинах, страшась разбойных и голодных французских солдат, не-

изменно, всякий-всякий день прибегала она на то место, где стоял театр. Ей все казалось: коли жив Степан Акимыч, и он придет на пепелище своего любимого театра. И Федя, как только вернется в Москву, и Федя тоже придет сюда. Обязательно придет! А куда же еще? Где же еще он будет искать ее, свою Саню?

Потом дедушку Акимыча уже перестала ждать. Узнала, что дедушка погиб. Рассказали ей, как в первый же день в театр явились французские офицеры и приказали Степану Акимычу приготовить все для спектакля — сам император желает присутствовать на представлении. И как дедушка Акимыч, не испугавшись французских офицеров, затопал на них и закричал: «Сего не будет, милостивые государи! Пока я жив, нога вражья не преступит этого порога...»

Так оно было или не так, теперь не узнать. Но пожар начался внутри здания. Может, сам дедушка Акимыч и учинил поджог. Ведь такой махонький, такой старенький — не испугался ведь...

Узнав об этом, Санька ревмя ревела.

Теперь, через столько лет, она понять не может, как вынесла, как все вытерпела в той страшной разрушенной, сожженной и занятой врагами Москве. Только и жила одной надеждой, что их прогонят вместе с Бонапартом, а тогда вернутся свои. И Федя вернется. И они встретятся, она и Федя.

Сама голодная и бесприютная, со злобной радостью она видела, как день ото дня все хуже и хуже приходится врагу. Как голодают, как холодают, как на глазах меняются лихие наполеоновские солдаты, превращаясь в толпу бродяг. Смеялась до упаду, когда с наступлением осенних холодов впервые увидела этих солдат в розовых и голубых атласных салопках, в каких разгуливали московские купчики по Кузнецкому мосту и Тверскому бульвару...

— Так вам и надо, так вам и надо, — повторяла со злорадством. — И голод, и холод, и салопы — всё заслужили...

Но как ни худо было ей в то время, все равно каждый день приходила на Арбатскую площадь: дедушку перестала ждать, а Федю все равно ждала. Ни голода, ни холода — ничего не страшилась. Ободранная, худая, вся почерневшая — все ждала, все ждала...

И вот он здесь.

И вот открывается дверь.

И вот он входит.

Почему Саня не кинулась ему навстречу с протянутыми руками, как мечталась ей эта встреча? Почему не склонила головы к его плечу, почему не заплакала счастливыми слезами? Что оставило ее?

Она шагу не сделала ему навстречу. Прильнув к стене спиной, по стене распластала руки.

Он же воскликнул:

— Саня!.. — и рванулся к ней. Потом осекся и заговорил, но уже другим голосом: — Не думал встретить здесь...

Она молчала.

А он ей — уже спокойнее, уже овладев собою:

— Благодарен вам... Никак не думал увидеть в Вятке...

Она по-прежнему молчала. Волнение словно железным ободом сдавило горло, слова из себя не могла выдавить. Наконец тихо проговорила:

— И вам спасибо, что вспомнили, Федор... — и запнулась. — Не знаю, как вас по батюшке...

Он подсказал. Она же, чуть улыбнувшись, продолжала:

— Вот уж чего не знала, того не знала...

— В Санкт-Петербурге, стало быть, играете? — спросил он, не найдя иных слов.

Чуть улыбнувшись, она ответила:

— Да нет же, в Вятке я теперь... Ангажемент у меня на этот сезон. — И, помолчав, прибавила: — В Петербурге привелось мне театральное училище кончать. Может, знаете? Наше училище на Офицерской улице.

Нет, он не знал. В Петербурге еще ни разу не бывал. Она же, сама не ведая зачем, принялась объяснять:

— Одним боком на Офицерскую выходит, другой стороной — на Екатерининский канал. Случай один получился... Сразу после войны туда попала.

Правда, как же это было? Неужто позабылось? Да разве такое можно забыть...

Была тогда уже осень. Шел октябрь 1812 года. Ранний снег покрывал развалины сгоревшей Москвы. В тот день по приказу Наполеона последние французские солдаты вышли из Москвы. Это было 10 октября в 11 часов вечера.

А в пятницу, едва рассвело, в Москву вступили свои, русские.

Санька, дрожа от промозглой сырости и холода, кутаясь в

какие-то лохмотья, и в этот день прибежала на Арбатскую площадь.

На пустыре, где прежде высился театр, увидела она человека в ополченском мундире. Человек этот плакал. Плакал, будто на чьей-то могиле, будто проливал слезы о самом дорогом и близком. И Санька его узнала. Александр Александрович, князь Шаховской — вот кто был этот человек! И лысая голова была его, и длинный нос был его. Тонким голосом он повторял:

— И это все, что осталось от милого нашего Арбатского театра? Одни головешки, покрытые снегом... Проклятая война! Проклятые французы!

Санька, дивясь своей отваге, подошла к нему, окликнула:

— Александр Алексанч...

Шаховской утер глаза, посмотрел на ободранную, в нищенской одежде Саньку. Сурово сказал ей:

— Нет у меня хлеба...

В тот первый день все побирались. Оголодавшие жители, те немногие, кто оставался при французах в Москве, выпрашивали хлеб у своих, русских солдат. И ломоть ржаного хлеба не только утолял голод, но вселял в каждого уверенность, что лихие дни миновали, что бедствие, которое обрушилось на Москву, ушло и никогда не возвратится.

В тот день — впервые за тридцать девять суток — сперва на одном конце Москвы, потом на другом, а там со всех уцелевших колоколен раздался звон: Москва радовалась и благословляла возвращение русских войск...

— Не признали меня, батюшка Александр Алексанч? — подойдя еще ближе к Шаховскому, спросила Саня.

Да где ж ему было признать в этой худой, посиневшей от стужи, почерневшей от невзгод и голода девочке прежнюю Саньку со смуглым румянцем на тугих щеках, с веселым блеском лукавых глаз?

Когда Санька напомнила ему о себе, Шаховской вдруг воскликнул:

— Так это ты, воструха? Как же, как же... Уж очень ты нас с Петром Алексеевичем удивила. Такой ловкий фортель выкинула...

Фортель?

Нет, об этом Саня забыла. Вот ту полтину, с которой все началось... Вот о полтине не забыла!

О многом вспомнили они, стоя у сгоревшего Арбатского театра. Потом Шаховской грустно сказал:

— Пошли отсюда, Саня. Невмоготу мне здесь...

Тогда же Саня рассказала ему и о последней встрече с Петром Алексеевичем Плавильщиковым. Рассказала и о том, что обещал Плавильщиков учить ее, Саню, актерскому искусству.

— «Быть тебе служанкой музыки Мельпомены», молвил мне...

— Где он теперь? — спросил Шаховской.

Этого Саня не могла сказать. Знала лишь одно: уехал из Москвы, а дом его сгорел дотла, как и многие другие московские дома.

— Сильно недомогал в тот день, когда сидел на Тверском бульваре. Еле ходил. Я его до дому довела...

Шаховской задумался. Потом спросил:

— Стало быть, хотел самолично с тобой заниматься?

Саня кивнула: да, хотел.

— Теперь не до того, сама видишь... Однако не забуду, что-нибудь придумаю. Так просто Петр Алексеевич не стал бы говорить. Может, и правда заметил искру божью...

Но много-много не только трудных дней, а тяжких месяцев невзгод и ожидания прошло у Сани, прежде чем оказалась она в Петербурге. Не забыл князь Александр Александрович своего обещания, отыскал ее, определил в театральное училище.

Да стоит ли об этом вспоминать? И кому охота слушать о всех тех испытаниях, которые пришлось на ее долю?

— ...Училище наше выходит еще и на мост, — продолжала все о том же Саня. Говорила, а сама ужасалась, что говорит слова, такие ненужные ни ей, ни ему.

Федор повторил, что, коли придется побывать ему в Петербурге, не преминет заглянуть на Офицерскую улицу, где находится театральное училище.

Ах, боже мой! Да зачем ему нужна та улица, и тот канал, и то училище?... Зачем она ему об этом говорит, зачем он ей об этом говорит?

Зазвонил звонок. Антракт окончился. Из зрительного зала и сюда уже доносился говор, шум, смех, еще разные звуки. Публика занимала свои места.

Дверь приоткрылась. Сунулась чья-то лохматая голова.

- Александра Лукинишна...  
— Знаю,— ответила Саня и глянула на Федора.  
Он понял, что ему пора прощаться.  
— Вот и свиделись,— сказал он и поклонился.  
— Да, свиделись,— проговорила Саня.

\* \* \*

Мороз по-прежнему был изрядный, однако пурга внезапно прекратилась. Все небо было в звездах. Будто там, в вышине, кто-то щедрыми пригоршнями разбросал крупное золотистое просо. На северной стороне ярко и холодно переливалась Полярная звезда.

Уйдя из театра сразу после второго действия, Федор сейчас шел медленно. Снег пронзительно скрипел под его шагами. Вот и хорошо, думал он, что пурга более не задержит его в этом городе и на рассвете можно в путь. О многом он думал, идя по улице между высокими снежными сугробами. Мысли его были сумбурны, и он никак не мог с ними справиться. Одно он знал твердо: вряд ли придется им когда-нибудь еще встретиться, ему и Сане...

\* \* \*

— Вот и встретились...— шепотом повторила Саня, когда Федора уже не было в комнате.

Голос у нее был спокойный, а на душе-то, на душе... Кабы не выходить сейчас на сцену, уткнулась бы в ладони и плакала. Плакала бы сейчас навзрыд...

Может, и целый час плакала.

Может, и два часа. А может, до самого утра, всю ночь напролет. Но сейчас плакать было не ко времени.

Она присела перед зеркалом. Увидела, что по щекам текут непрошенные слезы. Рассердилась на самое себя. «Вот еще, реветь! Не совестно тебе, Санька? Тебе в третьем акте Антигону играть, а ты реветь вздумала... Где у тебя совесть?»

Дверь снова слегка приоткрылась, та же лохматая голова просунулась в щель.

— Александра Лукинишна...

— Знаю...— коротко бросила Саня, не повернув головы.— Сейчас выйду.

Она тщательно поправила грим, густо запудрив на щеках следы слез. Встала со стула. С пристрастием оглядела себя в большом зеркале, расправила плечи и, подняв высоко голову, пошла по длинному темному коридору на сцену. В ожидании своего выхода стала за левой кулисой.

И тогда к ней, как в далекие-далекие времена, как когда-то в Арбатском театре, словно живой, подошел Степан Акимыч. Старенький, маленький, чуть приподнявшись на цыпочки, с суровой нежностью он зашептал ей на ухо: «А горевать-то зачем? И причин к тому нет. Ведь ты своего достигла — стала актрисой, сударушка! Нет, ты скажи мне, ответствуй, Саня: есть ли большее счастье, коли человек своего достигнет?»



# ОГЛАВЛЕНИЕ

## ЧАСТЬ I

### *Санька попадает на Арбатскую площадь*

Глава первая о том, как Санька залезла на березу и раздумывала над своей судьбой . . . . .	5
Глава вторая о том, как Санька две затрешины снесла, а подзатыльника не стерпела . . . . .	11
Глава третья о том, как Санька попала на Тверской бульвар . . . .	14
Глава четвертая о том, как Санька увидела на земле кошелек . . . .	18
Глава пятая о том, как Саньке досталась полтина . . . . .	24
Глава шестая о том, что случилось дальше с Санькиной полтиной . .	27
Глава седьмая о том, как Санька очутилась за кулисами театра . . .	33
Глава восьмая о том, как Санька смотрела трагедию Озерова «Эдип в Афинах» . . . . .	38
Глава девятая о том, как Санька выбиралась из театра . . . . .	45
Глава десятая о том, как Санька свела еще одно знакомство . . . .	49
Глава одиннадцатая о том, как завершились эти сутки . . . . .	54

## ЧАСТЬ II

### *Служанка музы Мельпомены*

Глава первая, в которой Санька узнает кое-что о музы Мельпомене, старом суфлере Акимыче и о многом ином . . . . .	63
Глава вторая о том, как Санька льет слезы и не знает, что ей делать . .	70
Глава третья, в которой Санька нанялась в услужение к французской актерке мамзель Розине . . . . .	75
Глава четвертая о том, что не хлебом единым жив человек . . . . .	83

Глава пятая о том, как снова встретились Санька и Федор . . . . .	89
Глава шестая о том, как Санька рыдала над «Бедной Лизой» Карамзи- на, как увидела на небе хвостатую звезду и наступил новый, 1812 год . . . . .	95
Глава седьмая, в которой Москва ждет приезда двух знаменитых актрис, Саньку же сдает любопытство . . . . .	101
Глава восьмая, в которой Санька знакомится с великой французской актрисой Жорж . . . . .	106
Глава девятая о том, как Санька удивляется сверх всякой меры . . .	113
Глава десятая, в которой Саня снова видит Плавильщикова и Ша- ховского . . . . .	120
Глава одиннадцатая, в которой Саня решила свою судьбу . . . .	124

### ЧАСТЬ III

#### *Конец Арбатского театра*

Глава первая, в которой Москва узнает, что война началась . . . .	135
Глава вторая, в которой Федор прощается с Саней . . . . .	144
Глава третья о последнем спектакле в Арбатском театре . . . . .	153
Глава четвертая, в которой из Санкт-Петербурга приходит депеша . .	159
Глава пятая, в которой Саня снова на Тверском бульваре . . . . .	163
Глава шестая, в которой Степан Акимыч остался наедине с театром .	171
Глава седьмая, в которой Саня возвращается в Москву . . . . .	179
Глава восьмая, в которой Саня, возвратившись в Москву, видит самого Наполеона Бонапарта и теряет все . . . . .	189
Глава последняя, которая является эпилогом . . . . .	196

Для среднего возраста

*Могилевская Софья Абрамовна*

ТЕАТР НА АРБАТСКОЙ ПЛОЩАДИ

Историческая повесть

---

Ответственный редактор

С. М. Пономарева

Художественный редактор

С. И. Нижняя

Технический редактор

Н. Ю. Крапоткина

Корректоры

З. С. Ульянова и Т. Ф. Юдичева.

Сдано в набор 1/VII 1971 г. Подписано к печати 10/XI 1971 г. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печ. л. 13. Усл. печ. л. 12,13. (Уч.-изд. л. 12,55). Тираж 75 000 экз. ТП 1971 № 471. А09445. Цена 50 коп. на бум. № 2. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сушевский вал, 49. Заказ № 2584.



